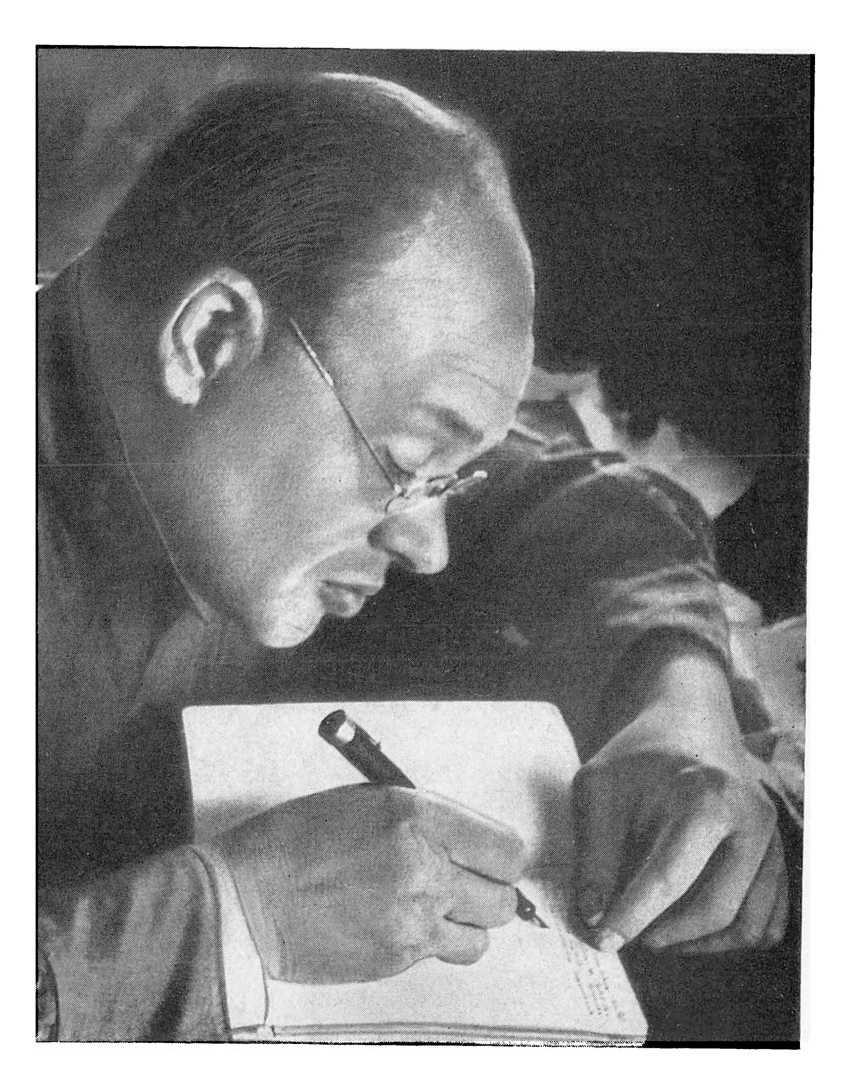
И. БАБЕЛЬ

Воспоминания современников



И. БАБЕЛЬ

Воспоминания современников

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1972

8Р2
Б 12

Сборник посвящен И. Бабелю, мастеру советской прозы, художнику, преданному идеям социалистической революции.

В сборник вошли воспоминания друзей, писателей, близко знавших И. Бабеля и рассказывающих о нем с любовью и уважением.

Воспоминания воссоздают облик писателя, своеобразные черты его характера, показывают широту его интересов, увлеченность тем новым, что рождалось в стране в годы революции и первых пятилеток и открывало необычайно широкие возможности для советского искусства.

Составители А. Пирожкова, Н. Юргенева

7-3-2
18—72

Лев Славин

ФЕРМЕНТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Трудно сказать, когда я впервые увидел Бабеля. У меня такое ощущение, что я знал его всегда, как знаешь небо или мать.

По-видимому, все-таки первое знакомство произошло где-то в самом начале двадцатых годов. Именно тогда на оборотной стороне больших листов табачных и чайных бандеролей, оставшихся в огромном количестве от дореволюционных времен, печатались ранние одесские издания. Там-то, на этой прозрачной желтой бумаге, стали появляться рассказы Бабеля, пронзившие нас, молодых литераторов, своим совершенством.

Обаяние писательской силы Бабеля было для нас непреодолимо. Сюда присоединялось личное его обаяние, которому тоже невозможно было противиться, хотя в наружности Бабеля не было ничего внешне эффектного.

Он был невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземистая, приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая лобастая голова, немного втянутая в плечи, голова кабинетного ученого.

Мы приходили в его небольшую комнатку на Ришельевской улице, набитую книгами и дедовской мебелью. Он читал нам «Одесские рассказы» и открывал нам всю сказочную романтичность города, в котором мы родились и выросли, почти не заметив его.

Стоит сказать несколько слов о манере чтения Бабеля; она была довольно точным отпечатком его натуры. У него был замечательный и редкостный дар личного единения с каждым слушателем в отдельности. Это было даже в больших залах, наполненных сотнями людей. Каждый чувствовал, что Бабель обращается именно к нему. Таким образом, и в многолюдных аудиториях он сохранял тон интимной, камерной беседы.

Чтение его отличала высокая простота, свободная от того наигранного воодушевления, которое неприятно окрашивает иные литературные выступления. Поразителен был контраст между спокойной, мягкой, южной интонацией Бабеля и тем огненным темпераментом, который пылал в его рассказах и о котором Ромен Роллан писал Горькому:

«Существуют ли между Вами и Бабелем какие-нибудь отношения? Я читал его произведения, полные дикой энергии».

Во время чтения с лица Бабеля не сходила улыбка, добро-насмешливая и чуть грустная.

Оговариваюсь тут же, что Бабеля никак нельзя было назвать грустным человеком. Наоборот: он был жизнерадостен! В нем жили жадность к жизни и острый инте-

рес к познанию тех механизмов, которые движут душевной жизнью человека, душевной и социальной. Когда человек его заинтересовывал, он старался постигнуть, в чем его суть и пафос.

Бабеля, по собственному его признанию, интересовало не только и не столько — что, сколько — как и почему.

С годами Бабель, как и Олеша, стал писать проще. И из жизни его стала исчезать та несколько театральная таинственность, которой он любил облекать некоторые стороны своего существования. Он избавлялся от стилистических преувеличений. Это, между прочим, отразилось на его отношении к Мопассану. В ранние одесские годы он говорил:

— Когда-то мне нравился Мопассан. Сейчас я разлюбил его.

Но, как известно, и этот период прошел. Избавляясь от стилистических излишеств, Бабель снова полюбил Мопассана.

Бабель как писатель созрел в Одессе. И Одесса признала его сразу. Но далеко не сразу удалось его рассказам перекочевать с листов табачных бандеролей на страницы литературных журналов. Для всей страны Бабеля открыл Маяковский, когда в 1924 году напечатал в журнале «Леф» «Соль», «Король», «Письмо» и другие рассказы,— по определению одного критика, «сжатые, как алгебраическая формула, но вместе с тем наполненные поэзией».

Сохранилась стенограмма, к сожалению неполная, выступления Маяковского на диспуте в 1927 году, где Маяковский, между прочим, сказал:

— Мы знаем, как Бабеля встретили в штыки товарищи, которым он показал свои литературные работы. Они говорили: «Да если вы видели такие беспорядки в Конармии, почему вы начальству не сообщили, зачем вы все это в рассказах пишете?..»

Одно время Бабель хотел поселиться под Одессой у моря, за Большим Фонтаном, в месте тихом и тогда почти пустынном.

По разным причинам это не удалось, и он поселился под Москвой, в месте далеко не пустынном — в писательском поселке Переделкино.

На вопрос, каково ему там, он ответил:

— Природа замечательная. Но сознание, что справа и слева от тебя сидят и сочиняют еще десятки людей,— в этом есть что-то устрашающее...

Бабель, который для многих служил объектом восхищения и даже обожания, сам имел бога.

Этим богом был Горький.

При Бабеле нельзя было сказать ни одного критического слова о Горьком. Обычно такой терпимый к мнениям других, в этих случаях Бабель свирепел.

Горький привлекал к себе Бабеля не только как писатель, но прежде всего как необычайное явление человеческого духа. Он не уставал говорить о Горьком. Он был до того влюблен в Горького, что все ему казалось в нем прекрасным — не только проявление его духа, но и любые подробности его физического существа. Он так описывал его одежду:

«Костюм сидел на нем мешковато, но изысканно».

Говоря о походке Горького, он прибавлял, что она «была легка, бесшумна и изящна».

Или о жесте Горького:

«Он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец».

Не однажды Бабель писал о Горьком, а в 1937 году вышел номер журнала «СССР на стройке», целиком посвященный Горькому. На обложке его значится: «План, передовая и монтаж текста И. Бабеля». Вот несколько строк из этой передовой, которая вся — гимн Горькому, прекрасный своей вдохновенностью:

«Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце, всегда творчески возбужденных, впечатались книги, прочитанные им за шестьдесят лет, люди, встреченные им,— встретил он их неисчислимо много,— слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба. Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью... Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизни и украшающая ее работа...»

Жизнь Бабеля оборвалась, когда талант его начал приобретать новые, еще более сверкающие грани. В этот последний период жизни он как-то сказал в разговоре:

— Я не жалею об ушедшей молодости. Я доволен своим возрастом.

— Почему? — спросили его.

Он ответил:

— Теперь все стало очень ясно видно.

О двух замечательных советских писателях существовал ходячий обывательский миф, что они мало писали,— о Бабеле и об Олеше.

Но после Олеши осталось одно из его крупнейших и по размерам и по значительности произведений — «Ни дня без строчки».

После Бабеля осталась пьеса, по-видимому незаконченная, но содержание которой он рассказывал, осталось и несколько папок с рукописями.

Уже много лет Бабеля читают во всем мире. И чем дальше, тем больше. Его рассказы отличаются, если можно так выразиться, своей непреходящей современностью.

Говоря о стиле нашей эпохи, Бабель сказал, что он заключается «в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья».

Я думаю, что в этом и заключается фермент долговечности Бабеля.

Константин Паустовский

РАССКАЗЫ О БАБЕЛЕ

«МОПАССАНОВ Я ВАМ ГАРАНТИРУЮ»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно воде, насыщенной углекислотой.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского,— напев размеренный и пышный.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за

наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить. Его можно было принять за коммивояжера или маклера.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие насквозь глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

— У нас в Одессе,— сказал он, насмешливо поблескивая глазами,— не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую...

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» боготворили Бабеля. Старые литераторы — их в то время собралось в Одессе несколько человек,— равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю.

Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то, что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в

голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем потому, что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

— Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За куриные яички. Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не толь-

ко рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

— Вы окончательно сказились, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом, в Одессе, мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строчки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне —

единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много и об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос — подарок царю Александру от турецкого султана Абдул-Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Цирееа и его мрачной, медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего пребывания на Молдаванке. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

— Ой, месье Бабель! — сказал он, качая головой.— Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица!! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

— Каких? — спросил Бабель.

— Я знаю, каких! — уклончиво ответил Цирес.— Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

— Что ты с этого будешь иметь, скупец? — говорила она Циресу.— Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет сме-

яться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

— Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захапать,— неуверенно отбивался Цирес.

— Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи. Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые, деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе, на Екатерининскую улицу. Там, за толстыми стенами, на четвертом этаже, было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту

рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка,— говорил он,— совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент — «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того, как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас,— сказал он Бабелю,— взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

— Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так.

Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

— Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый, советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выма-

тывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? — спросил, сладко улыбаясь, Цирес.— Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц,— сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке.— Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра,— очень тихо произнес Цирес,— в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька.— Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов! Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес.— Они сведут меня с ума, эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится на твои липовые миллиарды. Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Циреса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать

белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

КАТОРЖНАЯ РАБОТА

...Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда оно не завладевало так сильно почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск кончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк — колючую ветку или створку раковины — целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный, успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и

лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной (тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами).

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согрело ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение сол-

нечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение

покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

— Вот вы и другие писатели,— сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем,— умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне?

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

— Бог знает, что вы говорите! — возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

— У меня нет воображения,— упрямо повторил он.— Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз: «Подлинность!» Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это — вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку

нужно срыть до основания Эверест. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

— Но у вас же литая проза,— сказал я.— Как вы добиваетесь этого?

— Только стилем,— ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина.— Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей,— как говорил один одесский журналист,— а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем двести страниц.

— Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около двухсот страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть?!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

— Позвольте,— сказал я,— я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

— Да,— ответил он и покраснел от смущения.— Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все двадцать два варианта этого рассказа, включая и последний. А в общем в рукописи двести страниц.

— Двадцать два варианта! — пробормотал я, ничего не понимая.

— Слушайте! — сказал Бабель, уже сердясь.— Литература не липа! Вот именно! Двадцать два варианта одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это излишество! А вот я еще не уверен, что двадцать второй вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! — повторил он.— Я беру пустяк — анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как

морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

— У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков.

Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

— Я не выбирал себе национальности,— неожиданно сказал он прерывающимся голосом.— Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизм.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

— Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна,— сказал он вполголоса.— Закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

— Так вот,— сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью.— Я работаю как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это — собрание нескольких более или менее удачных кусков,

связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать — если у меня хватит на это терпения — и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само по себе в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза — одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу,

может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи почти все причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе — это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий» «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у Андрея Соболя да и у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали двадцать два варианта «Любки Казак».

Все эти варианты — прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

— Действительно каторжная работа,— сказал я.— Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

— А главное,— сказал Бабель,— заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... — добавил он и помолчал. — Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Ведь он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

— Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

МАЛЬПОСТ

Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временно̀го разрыва.

От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые мальпосты. Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.

До войны по Кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.

Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря — колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Поссажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше — империале.

Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.

Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства — два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле почтовой связи.

Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях.

Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние.

От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки бы не налезали горбом на голову.

Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.

Я, например, мечтал, чтобы на пятачки, сбереженные из родительских выдач на завтраки, купить билет в дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через заболочен-

ные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.

Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.

Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.

Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям.

На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого мыса.

Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды.

Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.

Кроме курносого с нами ехала волоокая, тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: «Уй-мэ!», «Уй-мэ!» — и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.

Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интел-

лигентов, в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.

Без всякого побужденя с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда — единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.

Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом, в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.

Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.

Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу.

Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад,— так медленно и неохотно они переставляли ноги.

При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн Рида:

— «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией».

А возница — сытый мингрел — только причмокивал от восхищения губами:

— Ай, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!

Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.

Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.

Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты — смуглый, тонкий и томный, как баядерка. Всадник был туго обтянут бордового цвета черкеской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала у него на боку висел тяжелый маузер.

Гнедой конь, екая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.

Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, как у слепого, исступленно смотревшие в одну точку.

— Инал-Ипа! — вполголоса сказал возчик.— Большой начальник! Комиссар!

— Чего комиссар? — спросил Бабель.

— Чрезвычайна комиссия,— таинственно подмигивая нам, проговорил возница.— Комиссия Чрезвычайна!

— Уй-мэ! — с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках.

Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:

— Видали мы и не таких фазанов...

Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном.

И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось — прямо в небо, рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.

— Уй-мэ! — закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.

Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.

— Похоже, что пальба,— уныло определил человек в гимнастерке.— Надо бы лечь за камень.

Но он не двинулся с места.

Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.

— Вы чего? — спросил я.

— Готовая глава,— ответил он и закашлялся,— из романа Немировича-Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа...

Но Бабель не успел досказать, из какого другого романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу, уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как пять минут назад.

Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером как-то боком, как бы оглядываясь назад.

Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.

Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.

— Похоже, что в Эшерах восстание, — заметил человек в гимнастерке. — Горцам к этому не привыкать.

Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше: ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.

Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.

— Уй-мэ! — гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.

Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.

За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас — так они были возбуждены.

В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на порогах домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.

Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.

Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинку над впалым животом натекла лужица крови.

Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее,— должно быть, проклятие убийце.

Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.

Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.

Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще сидели старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.

Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом — дубом или вязом.

В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.

Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.

Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами — князьями Эмухвари.

Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.

Эмухвари закричал, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.

Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.

За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.

День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда та просачивается в узкую щель.

Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.

В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.

В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец келарь — рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.

Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-

то поселок в горах, к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.

— Вас, как людей образованных,— сказал отец келарь, посмотрев наши удостоверения,— прошу держаться в рамках. Здесь, в соседнем номере, помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, по-монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокиня.

— Да-а,— сказал Бабель.— Видно, кремень старушка.

Отец келарь усмехнулся.

— Что вы, гражданин! — сказал он укоризненно. — Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама. Но предупреждаю: строга.

Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:

— У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой — вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.

Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.

Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда даже на злополучном мальпосте.

В монастырской гостинице мы с Бабелем много

говорили и наконец выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.

Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый, сверкающий поток,— все прекрасное: хохот и раздумье, блесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни. И еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.

Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином — маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует беспрерывно, с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.

В общем, я сходил к отцу келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.

Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил одну бутылку.

Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом.

Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пуд-

ра). Я не заметил и ее волос — они были спрятаны под черной косынкой.

Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.

Дело в том, что у себя в кладовой отец келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней — это, конечно, была Нелидова — я объяснил быстрым действием этого вина.

На стук упавшей и покатившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.

— Вот! — сказал он с торжеством.— Я так и знал, что вы разобьете...

Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.

— Апофеоз женщины! — неожиданно сказал Бабель.— Пошлое слово «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очемчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая, русская Афродита. А мы с вами, глупые нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации, встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.

— Бред! — сказал я Бабелю.— Вы же еще не пили маджарки?

— Конечно, бред! — ответил он и распахнул окно.— Идите-ка лучше сюда!

С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.

И тотчас в окно вошел величавый ропот моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца и несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.

«Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? — подумал я.— За жизнь?»

Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже наверное не так гладко, но я мог подумать и так.

Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый, даже несправедливо счастливый человек на всем свете.

С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий день шел в Сухум моторный дубок «Лев Толстой», и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.

Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового завета. На этих картинках все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.

Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.

Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал:

— Вот что делает маджарка, молодой человек.

Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.

Илья Эренбург

БАБЕЛЬ БЫЛ ПОЭТОМ...

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера,— с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще бо́льшим любопытством — вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю

Из книги «Люди, годы, жизнь». Собрание сочинений в 9 томах, т. 8, стр. 494. (Печатается с сокращениями.— *Ред.*)

моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня, их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви,— так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль — вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивай, пожалуйста, оглобли», — она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно

на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь — боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас не спросясь, а тут режут за очки», «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»...). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино»,— грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика — прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» — галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос — неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из изда-

тельства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента, белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь с глазу на глаз с Чиано,— словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья различных профессий — инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи — рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет — с

1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Действительно, семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое, но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов — налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе, но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста,— говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме, И. Л. Лившицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно бы-

ло увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негаданным результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен — он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его

потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяша, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день — главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса — Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование,— Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, ясень».

«Боратин — крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный тем-

ный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом, наверное б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.»

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса»: «На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — красножий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь».

А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр[яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короток: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке

Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытоптанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет,— вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка...».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких,— ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж — не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932-го — начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал,— моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на

одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)

По совету Горького, Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916-го по 1923-й. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие (правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой — Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре — молчании.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскатель-

ность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня... Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола — писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича,— на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас...»

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации, Бабель приехал с опозда-

нием,— кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное — это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов — «Карл-Янкель» — кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть,— шептал я себе,— чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-

под Теруэля, в Москву. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика.

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

...Он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти»,— и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле»...

...Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для любви, для красоты, для искусства...

С. Гехт

У СТЕНЫ СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 1924 ГОДА

В поисках прохлады присели здесь на скамью под липой Есенин с Бабелем. Сидел с ними и я.

Утром Бабель по телефону предложил мне зайти за ним к концу дня, то есть ровно в пять часов, в редакцию журнала «Красная новь», где печатались тогда из номера в номер его рассказы. Поднимаясь по плохо отмытой мраморной лестнице старомосковского трехэтажного особняка в Успенском переулке, я прошмыгнул мимо закончивших занятия работников журнала. С портфелем в руке спускался А. Воронский, за ним В. Казин и С. Клычков. В опустевшей редакции оставались чего-то не договорившие Бабель с Есениным. Есенин сидел на письменном столе, он болтал ногами, с них спадали ночные туфли. Бабель стоял посредине комнаты, протирал очки. Он вообще часто протирал

очки. Есенин уговаривал Бабеля поделить какие-то короны. Вникнув в их разговор, я разобрал:

— Себе, Исаак, возьми корону прозы,— предлагал Есенин,— а корону поэзии — мне.

Ласково поглядывавший на него Бабель шутливо отнекивался от такой чести, выдвигая другие кандидатуры. Представляя меня Есенину, он пошутил:

— Мой сын.

Озадаченный Есенин, всматриваясь в меня, что-то соображал. Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало, и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками — сушеной воблой, кружочками копченой колбасы, ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, белыми и мятными. Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный — человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным, не очень им любимый, но и не отвергаемый.

Покинув пивную, пошли бродить. Шли бульварами, сперва по Сретенскому, затем по Рождественскому, где тогда еще был внизу Птичий рынок, и, потеряв по дороге Приблудного, поднялись к Страстному монастырю. Здесь и присели под липой, у кирпичной стены, за которой после революции поселился самый разнообразный народ. На Есенина оглядывались,— кто узнавал, а кто фыркал: костюм знатный, а на ногах шлепанцы.

Есенин, ездивший год назад в Америку, рассказывал Бабелю о нью-йоркских встречах. Скандаливший на

прошлой неделе в ресторане Дома Герцена, он был сейчас задумчив, кроток. Бабеля позабавил «грозный» приговор, вынесенный Правлением старого Союза писателей. Оно запретило Есенину посещать в течение месяца ресторан. Зашла речь и об ипподроме. Бабель в те дни изучал родословную Крепыша и рассказывал Есенину об этой знаменитой лошади, что-то еще говорил о призерах бегового сезона. Пролетел со стороны Ходынского поля самолет, и Бабель рассказал про свой недавний полет над Черным морем со старейшим, вроде Уточкина и Российского, авиатором Хиони. Слушая, Есенин раза два с недоумением на меня посмотрел. Наконец проговорил:

— Сын что-то у тебя большой.

За стеклами очков смеялись глаза Бабеля. Засмеялся и Есенин. Детей у Бабеля тогда еще не было, а у Есенина — двое. Есенин сказал, что собирается в гости к матери, спросил про близких Бабеля: жива ли мать, жив ли отец. С разговором об отце вспомнился и старый кот, которого гладил его чудак отец, сидя на стуле посреди тротуара на Почтовой улице. Может, потому еще вспомнился кот, что Есенин недавно опубликовал стихотворение, в котором было чу́дно сказано о животных:

...И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Я знал кота с Почтовой улицы, о которой Бабель говорил, что презирает ее безликость. На этой серой улице помещалась мастерская сепараторов, принадлежавшая неудачному предпринимателю Эммануилу Бабелю. На Почтовой сомневались в коммерческих талантах человека, усевшегося посреди тротуара со старым котом на коленях. Оба мурлычут — мурлычет кот, и

мурлычет-напевает старый отец. Вернувшись домой после меланхолического времяпрепровождения около давно не приносящего доходов предприятия, он приступает к сочинительству сатирических заметок. Отец их никому не показывает. В них высмеивается суетная жизнь соседей по дому, с первого этажа до четвертого. Заносятся эти заметки в конторскую книгу. Не знаю, содержались ли в ней и деловые записи.

...И зверьё, как братьев наших меньших...

Бабель читал стихи голосом твердым, чеканным. Где взял он эти слова: «...звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»? Их поют у него в рассказе. До последних дней жизни Багрицкого он приходил к нему. Тот читал ему и свои и чужие стихи, из новых поэтов и древних. И кому принадлежат эти строки любимого Бабелем гречаниновского романса: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и брачный свой тяжкий наденет венец...»

Есенинские стихи Бабель читал и про себя и вслух. Читал ему свои стихи и Есенин, привязавшийся к Бабелю, полюбивший его. И любил он еще вот это есенинское: «Цвела — забубенная, росла — ножевая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая».

На скамье у Страстного монастыря Есенин тоже свесил голову, но очень живую, прекрасно-задумчивую. До того успокоенным и добрым было в тот день его лицо, что показалось просто ерундой, что голову эту называли — пускай даже сам Есенин — забубенной и неживой. На скамье сидели два тридцатилетних мудреца, во многом схожие в этот час — познавшие, но по-прежнему любознательные; не к месту было бы говорить о пресыщении.

Скажут: разные же люди! Еще бы! Из неукротимых неукротимый, временами вспыльчивый и даже буйный Есенин и рядом с ним тихий, обходительный, сам великолепно довершивший свое воспитание Бабель. Эту его сдержанность отмечал позднее в своей шуточной речи Жюль Ромен. Об этом рассказал мне, вернувшись из Парижа, Бабель. В Париж он ездил на антифашистский конгресс.

Французские писатели чествовали Бабеля. На банкете председательствовал Жюль Ромен. Подняв бокал, он сказал, что хочет выпить за здоровье очень хорошего, по-видимому, писателя. Жюль Ромен извинился: «У нас Бабеля, к сожалению, еще не перевели, и я не имел по этой причине возможности прочитать его рассказы. Но я убежден,— сказал Жюль Ромен,— что это хороший писатель. Достаточно посмотреть, как достойно ведет он себя в таком обычно нелепом положении».

Кое-что Бабель прибавил, должно быть, от себя, чтобы сделать рассказ поскромней, посмешней. О Бабеле уже давно писали с большой похвалой и Ромен Роллан и Томас Манн, так что за границей его знали.

Не повлияла ли философическая сдержанность Бабеля на Есенина? Но то, что произошло вскоре, в ночь есенинской свадьбы, показало обратное. По воле Сергея Есенина Бабель сделался вдруг кутилой. Тогда не верили, не поверят и сейчас, а он между тем вернулся домой под утро, без бумажника и паспорта и вообще до того закружившийся в чаду бесшабашного веселья, что совершенно ничего не помнил. Бабель посмеивался:

— В первый и последний раз.

Есенин был единственным человеком, сумевшим подчинить Бабеля своей воле. Не помня ничего о том, что ели, пили и говорили, куда поехали и с кем спори-

ли, Бабель все же на годы запомнил, как читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Есенин.

Отчего же мне так немного запомнилось из беседы под липой у монастыря, хотя сидели они долго, несколько часов? Ослабела память? Нет, разговор таких людей запомнился бы навсегда. Или я не соображал, какие таланты сошлись за беседой? Соображал! Причина проще — оба подолгу молчали. Подошла девчонка-цыганочка, затрясла плечами. Бабель полез за мелочью в карман, сунул какую-то монету девчонке и Есенин. Оба сделали это поспешно, торопясь поскорей отделаться от не порадовавшей их сценки. Цокали вдали извозчичьи пролетки. Так громко цокали, что заглушали звон проносившейся вдоль бульвара «Аннушки». «И догорал закат улыбкой розовой», как писал, вспоминая с умилением свою юность, профессор Устрялов в журнале «Россия». Журнал читал человек, подсевший на скамью с намерением поговорить с Есениным. Узнав известного поэта, он затеял разговор о поэзии, но Есенин не отвечал, и тот недовольно поднялся. Когда ушел, стали гадать, что за человек.

— Совслуж,— сказал Бабель.

— А не нэпман? — спросил Есенин. — Может, сам Яков Рацер? Тот ведь тоже любит поэзию.

Яков Рацер публиковал в газетах стихотворные объявления, рекламировавшие его «чистый, светлый уголек», который «красотою всех привлек».

Был нэп, так сильно переоцененный сотрудниками сменовеховского журнала «Россия», профессором Устряловым, Ключниковым, Потехиным. Презираемый народом, особенно молодежью, нэпман представлялся сменовеховцам новой, прогрессивной силой России, ее живой кровью. Красный купец, множественный Савва

Морозов, подтянет остальных, он-то и двинет с поумневшими большевиками Россию по дороге цивилизации и промышленности, избавит ее от бездельников, людей нерешительных, инертных. Красный купец, а в просторечии нэпач, был, по мнению сменовеховцев, положительным героем утихомирившейся будто бы послереволюционных событий родины.

Сами же нэпманы — попадались среди них дальновидные, с кругозором — будущее оценивали почти что скептически. Продолжая выпускать на рынок крем «Имша» или шерстяные одеяла, они надеялись на кривую: авось вывезет. Я тогда делал попытки изучать нэп. Поручил мне это дело Михаил Кольцов. Он полагал, что получится занятный репортаж. Я успел узнать, что в годы, представляющие вершину нэпа, в стране было пятнадцать миллионеров, точнее — людей, чей капитал перевалил за миллион. Тысяч по пятьсот, по семьсот имели, подползая к миллиону, девяносто шесть человек. Один из них мне пожаловался:

— Сижу в кафе на углу Столешникова и Петровки. Скромное, в сущности, кафе, доступное и вашему брату с тощим советским кошельком. Однако вы пьете свой кофе по-варшавски беззаботно — и что вам до улицы! А я вижу, как мимо кафе проходит, нарочно проходит молодежь, комсомольцы в шотландках и ковбойках, комсомолки в кумачовых косынках, и как они нарочно, специально для меня, поют: «Посмотрите, как нелепо расползлася морда нэпа». Нет, не такова обстановка, чтобы перешибить мне ленинский лозунг: «Кто кого?» Я и не сомневаюсь, кто! Вот эти!

— Так что же вас держит? Вернее, чего ради при таком понимании вы нэпманствуете?

— Я сперва поверил в перерождение советской вла-

сти, затем довольно быстро разуверился, но — инерция. И это проклятое, неразумное: а вдруг?

Не так уж чадил угар нэпа, как тогда писали некоторые или как это изображалось на сцене. На виду у всех развивалась страна, заводы восстанавливались, пускались в ход электростанции. Заметили вскоре и сменовеховцы, что отступление-то приостановилось и появились признаки наступления. Комиссары гражданской войны взялись за хозяйство. В то время я два раза слышал от Бабеля:

— Я за комиссаров.

Это когда кто-нибудь рядом вдруг заноет, туда ли мы идем, не катимся ли. Отправившись, по совету Горького, «в люди», Бабель ушел в революционный народ, в среду коммунистов, комиссаров. Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции. Таков был и сам Бабель, всегда стоявший за Ленина.

За Ленина стоял и Есенин, видел его силу глазами деревенской бедноты, своих изрядно переменившихся земляков. Естественные образы тех лет — Ленин фабричного обездоленного люда, мужицкий Ленин, Ленин индусского мальчика Сами. В траурные дни, когда в Доме союзов стоял гроб с телом Ленина, подошла ко мне в Охотном ряду крестьянка в слезах. Оплакивая великого человека, которого старуха считала и своим защитником, она спросила меня, был ли Ленин коммунистом. Вопрос она задала нелепый, а Ленина невежественная старушка понимала верно.

Как же Есенину было не понять защитника бедноты? Ему, который сумел так хорошо пожалеть и жеребенка: («Ну куда он, куда он гонится?») и который «зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил

по голове», естественно было отзываться на страдания ближнего и дальнего. Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах так же лилась из его сердца, как письмо матери, до сих пор волнующее миллионы русских и нерусских сыновей. Один видный советский работник, подружившийся с Есениным на Кавказе, рассказал ему о своем брате, которому белые выкололи глаза. Никто потом не подтрунил над Есениным и не упрекнул его в неточности, когда он однажды, плача, стал вспоминать своего брата, которому белые выкололи глаза. Боль за чужого брата, проникнув в сердце Есенина, уже не оставляла его, сделалась болью за собственного брата. Может быть, натянуто? Но, во-первых, так бывает с людьми, способными страдать чужими страданиями, и, во-вторых, перечитайте стихи Есенина. Не раз вы встретитесь в них с тем, как умела отзываться его душа.

Два тридцатилетних мудреца, написал я, сидели в закатный час на скамье у Страстного монастыря. Умея познавать, они, и не сделавшись еще стариками, много познали — отсюда и мудрость, и горечь, которая вызовет у Есенина жалобу: «Сам не знаю, откуда взялась эта боль» — и побудит Бабеля написать грустный рассказ-исповедь «У Троицы». Как я теперь понимаю, это была драма постарения, сожаление о суетных днях жизни, «змеи сердечной угрызенья». Описывалась пивная на Самотечной площади, вблизи Троицких переулков,— отсюда и название рассказа. И описывалась, кстати, та самая пивнушка, куда в году тридцатом пришел загримированный Горький. Приклеив себе извозчичью бороду, наш великий писатель надеялся скрыть в ней свою популярность. Узнали его и в таком обличье, так что затея остаться незаметным на-

блюдателем провалилась. Рассказ «У Троицы» Горький читал.

Во время коллективизации Бабель попросил областных работников назначить его секретарем сельсовета в подмосковном селе Молоденове. Он жил в избе над оврагом, в темной комнате, по-бедному. Но у этого странного секретаря сельсовета лежали на столе беговые программы за многие месяцы и в избушку над оврагом заезжали военные в чине комкоров. Километрах в двух от Молоденова — усадьба, принадлежавшая Морозову. В белом доме с колоннами жил Горький. Бабель ходил к нему в гости, показывал все написанное. Рассказ «У Троицы» из невеселых, и чтобы представить вам его содержание, я посоветую перечесть «Когда для смертного умолкнет шумный день». Стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных» тоже написаны Пушкиным, и о них скажут, что, несмотря на горестные размышления о том, что «мы все сойдем под вечны своды», в стихах этих есть и жизнерадостное или жизнеутверждающее. Но Пушкин написал и «Когда для смертного умолкнет шумный день», оттого написал и то и другое, что был многоветвист, как дерево жизни.

В тот летний вечер, когда Есенин с Бабелем, казалось бы, спокойно подводили итоги прожитой юности, совершенно невозможно было предвидеть, что Есенина одолеет видение Черного человека, заноет растравленной раной та часть его души, которая его самого ужасала. Верилось, что покончено и с оравой оголтелых собутыльников и с бесшабашностью, грубостью «Москвы кабацкой». А потом узналось, что с поэмой о Черном человеке он дошел до последних своих дней. ...Он часто водил Бабеля в чайную в Зарядье, недалеко от Красной площади. По рассказам Бабеля, Есенин в Зарядье —

это веселый, любознательный человек, с одинаковой охотой выслушивающий любителей соловьиного пения, содержателей бойцовых петухов или покаянные речи охмелевших посетителей чайной. Мысль о самоубийстве не могла зреть в его голове, да и в стихах он задумывался о смерти по-пушкински: «И чей-нибудь уж близок час». У Есенина это сказано так: «Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли». Когда Бабель услыхал о самоубийстве Есенина, на лице его сделалось то выражение растерянности, какое бывает у очень близорукого человека, неведомо где позабывшего свои очки. Таким оно было только в первые минуты, и уже не растерянность отражало оно несколько времени спустя, а возмущенное недоумение теми несправедливостями судьбы и несовершенством законов жизни на земле, которое он по-своему, через тысячелетия после «Экклезиаста», ощутил у Троицы на Самотечной. Такими же были глаза Бабеля, когда он узнал о самоубийстве Маяковского...

В одной своей пьесе английский драматург Пристли поставил третий акт впереди второго. Действие еще будет развиваться, а мы уже знаем финал. Знаем, что этот обнищал, а тот умер, но второй акт идет после третьего, и на сцене снова живые, обнадеженные люди. И тревога за них, любовь к ним оттого сильнее... Так вижу и я скамью под липой у Страстного монастыря и на скамье Есенина с Бабелем. Они счастливы — сперва оттого, что нашли прохладу, а потом оттого, что их коснулись лучи заходящего солнца. Бабель — в шерстяной толстовке хорошего покроя, Есенин — в светло-сером костюме и ночных туфлях. Оба молоды и знамениты — круглоголовый, золотистоволосый Есенин и похожий то на Грибоедова, то на Робеспьера, снова вернувшийся

«из людей» Бабель. Молодые головы полны мыслей, великолепных словосочетаний, созвучий, так много лет жизни и работы впереди, а мне, как бы все еще продолжающему сидеть на скамье рядом с ними, известно, как в драме Пристли, их будущее. Скамья в памяти осталась — простая, зеленая, на витых чугунных ножках, хотя нет давно ни липы, ни Страстного монастыря, и если попытаться определить место, то скамья окажется посередине асфальтированной площади. Может быть, еще у кого-нибудь после прочтения этих страничек тоже останется в памяти скамья под липой у Страстного монастыря в летний день 1924 года?

В ДОМЕ-КОММУНЕ НА ХАВСКОЙ УЛИЦЕ

В Петрограде, не знаю точно, на какой улице, кажется, на Забалканском проспекте, жил в годы первой мировой войны видный специалист нефтяного дела инженер Слоним. В шестнадцатом году у него поселился молодой, но уже замеченный Максимом Горьким литератор Бабель. Инженер переехал потом в Москву, где работал по осуществлению громадных заданий первой пятилетки. Оставшись в начале тридцатых годов по семейным причинам без комнаты, Бабель поселился опять в семье того же инженера — сперва на Варварке, а затем в Доме специалистов в Машковом переулке. Я бывал у него там часто. И нередко мы отправлялись с ним на прогулку по кольцу «В».

— Кольцо «В» я люблю больше других мест Москвы,— сказал раз Бабель, когда заспорили, какое кольцо лучше.

Это кольцо, по которому ходил трамвай «В», не имевшее, в отличие от «А» — «Аннушки» — и «Б» — «Бу-

кашки», ласкательного наименования, было на всем своем протяжении рабочим районом. Кольцо «А» называли белой костью Москвы, кольцо «Б» вместило в себя старину барских особняков с кварталами доходных домов и мещанскими палисадами, а на заставах кольца «В» жили рабочие с Гужона и АМО, железнодорожники с Казанки, ремесленники — миллионная трудовая московская беднота. С простым людом, с давних времен населяющим этот район, Бабель заговаривал охотнее, чем с другими, ему были ближе их заботы и страсти, их язык. Идем, скажем, от заставы к заставе, где-нибудь присядем на скамейку, и только расположились, как Бабель уже внимательнейшим образом,— а людям это всегда по душе,— выслушивает рассказ или жалобу какого-нибудь старичка, обрадованного, что попался ему наконец терпеливый слушатель. Случилось так и на Хавской улице в Замоскворечье. Услыхав, что я иду осматривать дом-коммуну, Бабель сказал, что намерен отправиться туда со мной.

Прораб повел нас по пахнувшим нитрокраской коридорам. Механическая окраска, новинка в те годы, нас тоже удивила. Закрыв лица свиноподобными респираторами, маляры постреливали из больших револьверов. Прораб предложил ознакомиться и с подземным хозяйством. Бабель чуть поотстал. Возвратившись, я нашел его беседующим с бабкой, первой бабкой, въехавшей в еще не совсем отстроенный дом. Старуха рассказывала семилетней давности историю про страшного разбойника Комарова, занимавшегося «для вида» извозным промыслом. За железной конструкцией так называемой Шуховской башни, то есть радиостанции Коминтерна, стоял неподалеку деревянный домик, где жил раньше кровавый Комаров. Заманивая к себе тор-

говавших у него коня людей, разбойник убивал их в сарае и, разрубив труп на части, вывозил на реку. В двадцать третьем году о нем пели в московских трамваях куплеты. На Смоленском рынке, где была десятиминутная остановка, в трамвай пробирались попрошайки и калеки. Пели они так:

Как в Москве, за Калужской заставой,
Жил разбойник и вор Комаров,
Много бедных людей он пограбил,
Много бедных сгубил он голов.

По глазам Бабеля понял я, что бабка хитрит и что хитрость ее он раскусил. Но слушал он старуху внимательно, оттого что любил слушать всякие истории, даже вздорные. За вздорными еще лучше угадывался характер человека. А лукавая бабка толковала, что Комаров от казни сбежал и прокрался в свой дом. Плела она небылицы с целью и, когда увидала, что ее разгадали, мигнула: не выдавай, мол.

По двору оголтело носилась ее внучка, боевая, с мальчишеским норовом девчонка. И непослушная — убегала против воли бабушки в чужие дворы, а там ямы с известью. Непослушная, но и любопытная — прислушивалась к беседе бабушки с незнакомым дядей. Бабушка и надумала ее напугать.

Вспомнив злодея Комарова, бабка осудила приговор суда:

— Зря расстреляли, не дело.

Это уж совсем удивительно. Как так — зря? Такого изверга, окаяннейшего преступника?!

— Легкую смерть зачем подарили зверюге? — негодовала бабка.—Эдакому мучителю облегчение сделали! Он невинную душу не щадил, а тут — бах-бах, вроде праведник какой...

— В прислугах жила? — спросил Бабель.—Не у адвоката ли?

Старуха и точно прослужила много лет в семье присяжного поверенного. Бабель любил болтливых стариков и старух. Я часто заставал его беседующим с домашней работницей в одном доме. Эту старуху звали Ульяной Ивановной. В семье, где она работала, жил квартирант по имени Джек. Собаке же хозяева дали кличку Блек. Как тут разберешь? Ульяна Ивановна, разумеется, путала, то позовет квартиранта: «Блек, обедать иди»,— то напустится на собаку: «Пошел вон, Джек!» Чудными были ей в этой семье не одни имена и клички, но и заботы и страсти хозяев. Ульяна Ивановна нуждалась в человеке, с которым можно было потолковать о деревне, о покойном муже, зятьях и невестках. Бабель был таким человеком. Старухи не замечали обычно, как он направлял нить беседы так, что в жизнеописания зятьев и невесток широко входила история войн и революций. Так направлял он беседы с Ульяной Ивановной, так делал он и здесь, на Хавской. Рассказ бабки становился описанием картин разрухи и восстановления замоскворецких заводов, начавшейся ломки старого уклада.

Бабель был по-настоящему демократичен. Это не так легко быть простым, демократичным,— даже в наши дни. Люди отрываются нередко от основ жизни, теряют ее голоса. Видали мы таких не только в среде литературной и артистической и вообще гуманитарной. Об одном литераторе, кстати, говорили, что в его семье никогда не произносится такое слово, как «пшено», а все «сублимация», «метод», «реплика». В старину говорили: «Мементо мори» — помни о смерти. Неплохо бы иным повторять время от времени: «Помни о жизни!»

Бабель о ней всегда помнил и не был никогда тем «человеком надстройки», какие плодятся в мире интеллигентных профессий. Может быть, оттого, что в ранней юности он переболел этой болезнью отчуждения и «в люди» значило у него «всегда в люди»? Оттого-то он и не жил почти в Москве.

Но и в пору своей московской жизни Бабель устраивал свой быт подальше от литературных собратьев и поближе к населению кольца «В». По той же причине он отправлялся со мной в мои путешествия по Москве, если маршруты их обещали открыть ему что-то новое в заводских, пригородных районах столицы. Я постоянно искал там явления и сценки нового быта, нужные иллюстрированным журналам. Бабель справлялся, куда и зачем я иду, и либо одобрял мои поиски и даже предлагал себя в попутчики, либо признавал их ничтожными. Скажу ему: бригада «ДИП», то есть «Догнать и перегнать», на заводе «Каучук»— одобряет. Или что отправляюсь к бывшей прачке, назначенной на пост директора ткацкой фабрики, — тоже годится, хорошо. Новым содержанием привлекла его и Хавская улица: что за дом-коммуна, какие люди заселяют его? Пошли туда вместе.

Ходили мы с ним и на Усачевку и в Тестовский поселок. С тех пор каждая московская новостройка в числе моих старых знакомых, и временами мне охота их проведать. Как там мои знакомые углы и пересечения. дома и скверы? Пошел я через много-много лет и на Хавскую. Погляжу, подумал я, на дом-коммуну. Шел, увы, один... Вышел на Хавскую, зашагал к Крымскому мосту, к Каменному, стараясь припомнить, таким ли путем возвращались мы с Бабелем...

С набережной я поднимаюсь на Красную площадь.

Внизу, у поворота на Варварку, мы прощались обычно. Дом, в котором квартировал Бабель у старого инженера-нефтяника, стоял рядом с бывшим Домом бояр Романовых. Инженер же, чьи последние пять лет совпали с пятилеткой (так говорит он о себе в рассказе Бабеля), трудился над новым вариантом пятилетки — довести в 1932 году добычу нефти до сорока миллионов тонн. Об этом тоже написано в рассказе Бабеля «Нефть». И Москва тех дней представлена в рассказе: она «вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем...».

В. Ходасевич

КАКИМ Я ЕГО ВИДЕЛА

Мои глаза, тренированные глаза художника, видели и зорко рассматривали Бабеля во время наших встреч, и это поможет мне, через мелочи, наблюденные мною в его внешности, его поведении, в его манере держаться, в его интонациях, восстановить в памяти и вновь увидеть Бабеля, а увидев, найти нужные слова, чтобы рассказать о моих немногих и как бы ничем особенным не примечательных встречах с ним — с живым, неповторимым Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Каждая встреча с ним и с его новым литературным произведением всегда волновала и ум и сердце.

Читая написанное Бабелем, я испытываю то же наслаждение, которое получаю как художник, когда смотрю на дивные произведения могучего, непревзой-

денного, очень ни на кого не похожего и ни от кого не зависящего гениального испанского художника Франсиско Гойи.

Предельно скупые, но точные мазки его живописи и предельно выразительные штрихи его гравюр отражают только самое главное, что он хочет открыть и поведать людям. Отброшено все малозначащее и в картинах, и в портретах, и в композициях. Тема и цель ничем не засорены и действуют безотказно.

Бабель, работая словом, добивается тех же результатов. Их роднит и цель, и мысли, и манера. Я бы к ним присоединила еще и великого Рембрандта с его знаменитым умением пользоваться светотенью.

И все это, как я думаю, от любви и доброжелательства к человечеству.

Как я понимаю, это и есть настоящий — сверх и вглубь — реализм.

За все это — благодарность ему храню и пронесу, как дар, до конца моих дней!

Низкий поклон его имени, его таланту, ему — Человеку!

* * *

Все в нем было неповторимым при его, на первый взгляд, неприметательной внешности. В ней не было ничего яркого, цветного. И волосы, и цвет глаз, и кожа — все было приглушенных тонов. Никогда не видела в его одежде ни кусочка яркого цвета. Моду он игнорировал,— важно, чтобы было удобно.

Если бы не глаза его... то можно было бы пройти мимо не оглянувшись: ну, просто еще один обычный, не отмеченный красотой человек.

В нем не было даже сразу останавливающего внимание, неповторимого «уродства» Соломона Михайловича Михоэлса, которое я всегда воспринимала как чудо особой человеческой красоты — редко встречающейся.

Бабель — человек невысокого роста. Голова сидит на короткой шее, плечи и грудь широкие. Спину держит прямо — по-балетному, отчего грудь очень вперед. Небольшие, подвижные, все время меняющие выражение глаза. Нижние веки поддернуты кверху, как при улыбке, а у него и без. Рот большой. Уголки приподняты и насмешливо и презрительно. Очень подвижны губы. Верхняя — красивого рисунка, а нижняя слегка выпячивается вперед и пухлая.

Кажется, что ему всегда любопытно жить и поглядывать на окружающее (часто только одним нацеленным глазом — в глазу веселая точечка, а другой прищурен).

Мне не приходилось видеть его глаза злыми. Они бывали веселые, лукавые, хитрые, добрые, насмешливые.

Я не жалею, что не видела его злым. Он был слишком мудр для злости, ну, а гнев — это другое дело... Тоже не жалею, что не видела. Мне всегда жалко людей, охваченных гневом, а его было бы особенно жалко.

Он был величественно мудр,— возможно, потому, что доброе сердце и душа его были вымощены золотыми правилами жизни, которые ему дано было познать, и он их утвердил в себе.

Поэтому не надо было ему тормошиться, размениваться на мелочи. Он был непоколебимо честен в делах и в мыслях. Он знал свою Цель и готов был к лю-

бому трудному пути, но прямому, без «деляческих» подходов и обходов, и жизнь его была поэтому — трудная и подвижническая жизнь.

Многое мы узнаем о нем, а многое из того, что знали, чувствовали или предполагали, подтверждается возникающими из долгого небытия документами. И это очень нужно и важно, так как есть сейчас много молодежи, задающей вопрос: «Жизнь сделать с кого?»

Всем, всем очень некогда — некогда самим додумываться, осмысливать и найти ту прямую, которая является кратчайшим и вернейшим путем между тобой и Целью человеческой жизни. А Бабель — это прекрасный пример «жизнь сделать с кого» для молодежи.

Процесс его мышления — восхищал. Было всегда в ходе его мыслей нежданное и необычное, а иногда и эксцентричное. Все было пронизано пронзительным вИдением, глубокими чувствами, талантливо найденными словами. Все было мудро, всегда интересно и главное — человеколюбиво.

Он излучал огромное обаяние, не поддаться которому было трудно. Он не был скупым на чувства — щедро любил порадовать, развлечь или утешить людей своим разговором, рассказом, размышлениями, а если надо было, то и прямыми, конкретными советами и делами.

Он не прятался и не убегал, когда надо было помочь людям, даже если для этого надо было пройти по острию ножа.

Но иногда казался таинственным, загадочным, малопонятным, отсутствующим и «себе на уме».

Был нетороплив и скуп в движениях и жестикуляции. Не суетился. Внимательно умел выслушать людей — не перебивал, вникал. Говорил негромко,

ВСТРЕЧИ В ГОРКАХ Х У АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО И ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

Вернувшись из Италии, Алексей Максимович Горький жил в основном на даче под Москвой, в Горках X. Это в сорока восьми километрах от Москвы и находится совершенно в противолежащем Горкам Ленинским районе.

Алексей Максимович вел в Горках жизнь довольно уединенную и был углублен в работу. Если его хотели навестить друзья или по делам нужные люди, таким свиданиям отводилось время или к чаю — в пять часов дня — или к ужину — в восемь вечера. Алексей Максимович всегда был рад приезжавшим, ибо они связывали его с тем, в чем участвовать самому по состоянию здоровья было ему уже не под силу. Желающих побывать у Алексея Максимовича было слишком много, и очередность посещений устанавливал строгий его секретарь. Но была категория людей, которые, по договоренности с Алексеем Максимовичем, «обходили» секретаря и пробирались «нелегально», что очень веселило Алексея Максимовича.

В «нелегальные» попали и Исаак Эммануилович Бабель, и Соломон Михайлович Михоэлс, и Самуил Яковлевич Маршак, и Михаил Кольцов.

Бабелю, когда он поселился недалеко от Горок, в деревне Молоденово, Алексей Максимович сказал: «Приходите в любой день к обеду — это в два часа. Всегда буду рад».

К дому в Горках примыкал очень хороший и живописный парк, тянущийся по высокому, крутому бере-

гу Москвы-реки. Все это окружено было забором, одна сторона которого граничила с Конным заводом, принадлежавшим когда-то одному из московских богачей Морозовых.

Когда в Горках X поселился Алексей Максимович, это был еще очень глухой район. Совхоз «Успенское» только зачинался. Ближайшими железнодорожными станциями были Перхушково и Жаворонки, находящиеся километрах в шести — восьми от Горок. Живущие в Горках сообщались с городом на автомобиле. Никаких автобусов не было, да и асфальтированные дороги не сразу появились.

Если ехать из Москвы, то примерно за километр от Горок по левую сторону возвышался загадочный курган, а за ним, на холме, располагалась уютная деревня Молоденово. Там, как нам стало известно, и поселился Исаак Эммануилович Бабель еще в 1930 году. Он жил то там, то в Москве.

Он рассказывал, что его интересуют лошади и весь их быт, он все это изучал на Конном заводе — у него там друзья и среди людей, обслуживающих завод, и среди лошадей. Собирается он написать «Лошадиный роман».

Приходил Бабель в Горки то часто, то пропадал. Помню, как, бывало, садились мы обедать, а Алексей Максимович говорил: «Не подождать ли нам все же Бабеля,— может, немного опаздывает...»

Из столовой, через переднюю, в застекленную входную дверь, наружную дверь дома, видна была прямая дорога, ведущая к въездным воротам. И вот мы, обедающие, часто поглядывали и следили, не идет ли Исаак Эммануилович...

Как-то особенно уютно бывало зимой, когда на фоне

белого снега в маленькую калитку в заборе, около ворот, входил в шапке-ушанке, в куртке, с палкой, неторопливо, слегка вразвалку, Бабель. «Ну, сейчас много примечательного нам расскажет и про лошадей и про многое другое»,—говорил Алексей Максимович. Соскучиться с Бабелем бывало невозможно. Он как-то очень чувствовал слушателей и умел незаметно перевести разговор с одного на другое, еще более интересное. Уютней всего бывало именно зимой в тишине большого пустынного дома, когда после поездок в Москву Бабель приходил начиненный всяческими литературными и другими новостями.

У него с Алексеем Максимовичем часто бывали и специальные дружеские, профессиональные разговоры, в которых очень нуждался и которыми не был избалован Алексей Максимович.

Пролагая путь и продвигая вперед тяжелый корабль советской литературы, Алексею Максимовичу нужно бывало и самому посоветоваться с профессионалом о своих личных литературных сомнениях.

Вот Бабелю и Маршаку он очень доверял и как-то (пусть это не покажется странным в применении к Горькому) — не стеснялся их. Бабель, конечно, часто вспоминал и рассказывал Горькому об Одессе. Это бывали или лирические, или смешные истории из жизни Одессы и одесситов. Но всегда чувствовалось, как он любит Одессу и «на всякий случай» каждого одессита.

Бабелю случалось быть и озорным, и тогда ему приходили в голову какие-то эксцентричные соображения. К сожалению, не помню подробно, но, встречаясь в Горках с Михоэлсом, они начинали вспоминать свои годы «доблестей и забав».

Это были рассказы о каких-то бесконечных розы-

грышах друг друга, или они вдвоем «брались» за кого-нибудь и долго морочили голову продавцу газированных вод, или еще выбирали какой-нибудь ни в чем не повинный объект для своих игр. Полем их действий бывала не только Одесса. Иногда они случайно встречались где-нибудь в маленьком городке, где гастролировал Московский еврейский театр, возглавляемый Михоэлсом, и тогда жизнь такого городка бывала целиком во власти и под обаянием этих двух сказочных выдумщиков. Встречаясь у Алексея Максимовича, они разыгрывали невероятные дуэты. Много раз мне довелось присутствовать на этих «концертах» за обедом или за ужином. Начинался какой-нибудь разговор, и Бабель с Михоэлсом, перемигнувшись, находили зацепку, включались, и тут уж не только говорить, но страшно было нарушить их рассказы и диалоги или пропустить хоть слово или жест. Алексей Максимович отставлял тарелку и, вооружившись папиросой и носовым платком (вытирать слезы, появлявшиеся у него от смеха), был весь внимание.

После их отъезда мы всегда еще долго обсуждали с Алексеем Максимовичем «спектакль» и талантливых исполнителей. Алексей Максимович говорил: «А вот когда встречаются у меня двое таких разных и в чем-то одинаковых, неповторимых людей, как Бабель и Маршак,— тоже замечательно получается, только с Михоэлсом — «дуэт», а когда с Маршаком — каждый хочет изобразить «соло» и слегка сердится на другого, если тот перебивает или выпячивается». Алексей Максимович очень любил и ценил всех троих — и Бабеля, и Михоэлса, и Маршака.

Лето. Теплый лунный вечер. В парке Горок разведен большущий костер. Помню Бабеля у костра вмес-

те с Алексеем Максимовичем — они перебрасываются редкими словами и, зачарованные, не отрывают глаз от огромного пламени. Кругом много гостей, шум, веселье, а Алексей Максимович умел как-то уединиться и на людях, и костер помогал ему в этом. А то, бывало, стоит Бабель где-нибудь в сторонке, опершись на палку или прислонившись к стволу дерева,— наблюдает за всем вокруг и надолго останавливает любовный и серьезный взгляд на Алексее Максимовиче.

Уже после смерти Алексея Максимовича, когда семья его еще жила (а я в то время жила с ними) в осиротевшем, почти омертвевшем доме в Горках, нет-нет да захаживал туда Бабель из Молоденова и отвлекал нас, как мог, от горестного состояния.

Однажды он рассказал с какой-то стеснительной усмешкой, что женился на дивной женщине, с изумительной анкетой — мать неграмотная, а сама инженер на Метрострое, и фамилию ее вывешивают на Доску почета. Фамилия ее Пирожкова. К концу рабочего дня он прибегает в Метрострой за Пирожковой и в ожидании ее прихода волнуется — есть ли ее фамилия сегодня на Доске почета?

Однажды он пришел в Горки из Молоденова с прелестной, очень красивой молодой женщиной необычайно женственной, но отнюдь не лишенной затушеванных властности, воли и энергии.

Нам он сказал: «Вот Пирожкова Антонина Николаевна, знакомьтесь»,— и тут же что-то со смешком упомянул об анкетных данных. Антонина Николаевна взметнула на него свои светлые, какие-то по всему лицу раскинувшиеся глаза и строго на него посмотрела. Бабель не то чтобы смутился, но осекся как-то. Но все равно у него было очень счастливое лицо.

ВСТРЕЧИ В ОДЕССЕ В АВГУСТЕ 1936 ГОДА

«Одесская мудрость гласит: если с тобой знакомая дама, ты обязан угощать ее гренадином»,— сказал мне Бабель, почти насильно усаживая за столик в кафе гостиницы «Красная» в Одессе и ставя передо мной бокал гренадина. Затем, исчезнув на секунду, он вернулся и галантно вручил мне соломинку, упакованную в папиросную бумагу. Он сказал: «Вообще это невкусно, но через соломинку все же легче...»

Мы неожиданно встретились в вестибюле гостиницы. В тот день я должна была уезжать в Москву, мои вещи с утра вынесли из занимаемой мной комнаты в вестибюль, хотя поезд уходил вечером, чтобы сразу же вселить кого-либо из давно ждущих комнату.

Оставалось уже не много времени до отхода поезда, и я ждала человека, обещавшего достать мне билет в Москву и транспорт от гостиницы до вокзала.

В Одессу я попала впервые, провела там дня четыре, полных необычайных приключений и неожиданностей, включая и встречу с Бабелем, которая, к большому сожалению, произошла только за несколько часов до моего отъезда. Но и то хорошо! Я и так была очарована Одессой, а тут еще и Бабель! И как ни было коротко наше свидание, оно очень многое мне раскрыло и в Бабеле и в Одессе. Одним словом, мне повезло!

Бабель в Одессе чем-то отличался от московского Бабеля. У него была и другая манера держаться, и не насмешливые, а просто очень веселые глаза, и какие-то быстрые, танцующие движения. Его «величие» все равно наличествовало, даже усугубилось,— просто сбежавший с Олимпа небожитель, которому захотелось поерундить среди людей.

Бабель сказал мне, когда я его спросила, что за таинственные, странные, а пожалуй, малопочтенные люди окружали его за столиком, когда я вошла в кафе гостиницы: «Я покупаю дачу и все капризничаю, а эти люди ищут дачу и волнуются, а я в это время их изучаю. Я уже осмотрел кучу домов, которые вскоре сползут в море, и другие, которые временно не сползают... Пейте гренадин! Иначе вы меня скомпрометируете в глазах одесситов».

МОСКВА, ЗИМА 1936 — ВЕСНА 1937 ГОДОВ. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В апреле 1937 года вышел № 4 журнала «СССР на стройке», когда-то организованного А. М. Горьким. Большинство номеров этого журнала бывало посвящено какой-нибудь одной теме. Этот номер был посвящен Горькому — всей его жизни, вплоть до смерти, — и задуман был вскоре после того, как Алексея Максимовича не стало 18 июня 1936 года. Но понадобилось несколько месяцев, чтоб создать этот номер.

Для разработки темы и написания текста редакция обычно приглашала кого-нибудь из значительных писателей. В данном случае приглашен был Исаак Эммануилович Бабель — человек острой выдумки, хорошо знавший и любивший Алексея Максимовича. Художником выбрана была я. Конечно, я была очень обрадована этим, но боялась, что впервые буду работать в журнале, имевшем особую специфику, и впервые с Бабелем. Да еще и номер такой ответственный.

Впоследствии, постигнув специфику работы худож-

ника в этом журнале, я так пристрастилась к этой работе, что оформила несколько номеров на разные интересные темы, и работа моя прекратилась только в связи с закрытием журнала.

Принцип журнала был таков: максимум фотоматериалов и минимум текста. Тем труднее было писателям. Писатель должен был сочинить на заданную тему подобие фотосценария. Композицию и формат кадров на страницах разрабатывал художник к еще не существовавшим фото и заказывал их фотографам.

Бабель решил, что лучше всего будет, если в этом номере в основном будет говорить о себе сам Горький, а Бабель будет режиссером — составит драматургический план и подыщет цитаты из высказываний Алексея Максимовича в разные периоды его жизни.

Это была очень интересная и правильная выдумка.

Человек пять лучших фотокорреспондентов Москвы были постоянными сотрудниками журнала «СССР на стройке». Журнал в основном строился на фотоматериале, который должен был быть очень выразительным и подан так, чтобы и без текста было все понятно. Все же для каждого номера приглашался специальный писатель, который вместе с художником, как в театре, режиссировали номер. Надо было провести через отобранные фотографии основную тему и разворачивать ее по законам драматургии. Авторы и художник договаривались, после чего художник делал макет номера журнала, то есть композицию каждой страницы, предусмотрев размер фотографии. Надо было оставить место и для текста, которого пока еще не было, но в томто и дело, что у автора и художника должна была быть

договоренность о почти точных размерах оставляемого для текста места.

Макет такой представлялся редакции, и уже после утверждения художник делал заказ фотокорреспондентам. Это была очень трудная работа, но очень увлекательная. Если же использовалось что-либо из уже существующего материала, то он переснимался в нужном размере в фотолаборатории редакции, где были опытнейшие мастера своего дела. Художнику было истинным удовольствием работать с ними.

И вот задания фотокорреспондентам даны. Договорились. Они бросаются, как тигры, на работу. Иногда тема номера требовала далеких поездок по всему Союзу. Конечно, материал привозился в избытке, с учетом возможности выбора. Редакция не скупилась, и журнал получался обычно очень хорошим. Он завоевал большую популярность. Печатался он на четырех языках.

Надо сказать, что если вначале Бабель относился к работе как к моральному обязательству по отношению к покойному Горькому, то в конце концов он увлекся, вложил в работу много выдумки, и номер, посвященный Горькому, получился очень насыщенным, интересным и ценным по материалу.

Вспоминаю, что кроме встреч и разговоров в редакции Бабель просил меня однажды приехать к нему домой, чтобы спокойно, не в обстановке шумной редакции, поговорить о порученной нам работе.

Приехала я к нему в Большой Николо-Воробинский переулок — это близко от Покровских ворот.

Дальнейшее вспоминается импрессионистически, но

встающие в памяти детали характерны для Бабеля, и поэтому я их записываю.

Дом двухэтажный, деревянный. Звоню. Мне открывает дверь старушка, повязанная платком. Попадаю в переднюю. Из передней ведет деревянная, ступенек на двадцать, неширокая внутриквартирная лестница.

Слышу голос сверху, поднимаю голову — вижу Бабеля, стоящего во втором этаже. Предлагает подняться наверх, к нему. Поднялась. Не совсем поняла, что это за помещение, да и не очень светло, хотя день. Одно окно в узкой стене длинного помещения дает мало света. Вдоль перил, огораживающих лестничный проем, стоят сундуки. Один — с горбатой крышкой, другой — с плоской. И корзина. Один из сундуков обит медью,— вероятно, старинный. У противоположной стены шкаф. Неуютно. Тут же, между шкафом и сундуками,— небольшой стол, не больше разложенного ломберного. Стол покрыт скатертью или клеенкой. На нем металлическая высокая квадратная коробка,— в таких держали в старину чай. Бабель предлагает сесть за стол, говорит, что будет угощать чаем, а потом поговорим о деле. Я села. Бабель кричит вниз: «Ну, что же кипяток!» Внизу слышны шаги. Бабель спускается по лестнице и возникает с подносом, на котором стоит все еще плюющийся паром большой чайник с кипятком и другой, тоже не маленький, фарфоровый — для заварки чая, чашка, стакан с подстаканником, полоскательница, сахарница. Начинается очень деловой, серьезный и неторопливый ритуал заварки и приготовления чая. Я думаю: «Игра это или всерьез? Или оттяжка времени, чтобы переключиться на будущий разговор о журнале?»

Не буду описывать подробно, как заваривался и настаивался чай,— очень сложно! Одно хорошо запомни-

ла — это поразившее меня количество чая на одну чашку: три или четыре ложки с верхом. А пить надо, чуть не обжигаясь,— иначе аромат улетучится. Чтобы приготовить чай себе, Бабель проделал все сначала, начиная с того, что снизу по его зову был принесен старушкой новый кипящий чайник. Когда процедура была закончена, он очень серьезно сказал: «Только так есть смысл пить чай! Не хотите ли повторить?» Нет, я не хотела, я мечтала поскорее начать разговор, связанный с работой, и надо было уже торопиться в редакцию.

У меня осталось впечатление чего-то чудаковатого от ритуального чая, от странного обиталища и по старинке и уютного и неуютного быта.

Но Бабель все равно был хорош и абсолютно «на месте» и в этой обстановке. Да как и везде, я думаю.

О. Савич

ДВА УСТНЫХ РАССКАЗА БАБЕЛЯ

Когда Исаак Эммануилович что-нибудь рассказывал, каждое слово получалось у него удивительно вкусным. Казалось, как дегустатор, он перекатывает его во рту, пробует со всех сторон и только потом выпускает на свободу. Передать выпуклость и выразительность, которые он придавал таким образом своему рассказу, разумеется, невозможно. С такой же влюбленностью в слово, в его звучание и убедительность, он говорил по-французски. Правда, французский язык он знал с детства. На Конгрессе в защиту культуры в Париже, сидя за столом на эстраде, а не стоя, как другие, он на безукоризненном французском языке вел непринужденную беседу со слушателями. Он как будто говорил с одним-единственным человеком, рассказывая ему разные случаи из советской жизни и поверяя ему свои наблюде-

4 Заказ 484

ния. Это было то, что французы издавна называют causerie и чем они блистали на протяжении веков. Но ни один оратор не сумел за легким разговорным тоном, за блестящими афоризмами и шутками, незаметно вкрапленными в речь, достичь такой увлекательности и глубины. Я помню взрыв аплодисментов, когда Исаак Эммануилович рассказал, как он подошел к группе людей, взволнованно обсуждавших какое-то происшествие. Оказалось, что муж избил жену. «Вот оно, пьянство»,— сказал один. «Из ревности, наверно»,— сказала женщина. «Темнота»,— возразил третий. И спор заключил четвертый, авторитетно заявив: «Товарищи, это контрреволюция».

Я встречался с Бабелем только в Париже. Этот период описан И. Г. Эренбургом в его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», и мне тут прибавить нечего. Но память сохранила мне два устных рассказа Исаака Эммануиловича, при которых другие не присутствовали. Не сомневаюсь, что он рассказывал это не мне одному, но, насколько мне известно, никто этого не записал.

I

В Париже гастролировал Цаккони, «последний», как его называли, итальянский трагик. Ему было за шестьдесят.

После долгого отсутствия (оно означало, что Бабель работал, не выходя из дому; это единственная тайна в его жизни, которую мы разгадали) Исаак Эммануилович пришел в кафе на Монпарнасе, где мы встречались, и стал всех по очереди уговаривать пойти с ним в театр. Никто не соглашался, уговорил он только нас с женой.

Мы пошли на «Короля Лира». Денег было мало, мы сидели на ярусе, сбоку. Впрочем, видно и слышно было хорошо.

Труппа, с которой приехал итальянский Несчастливцев, была чудовищна: фальшивые интонации, неестественные жесты любителей, даже не принимавших свое дело всерьез. Правда, трагедия была сокращена до такой степени, что превратилась в монолог Лира, изредка прерываемый то необходимой репликой, то сценой, во время которой Цаккони мог отдохнуть. К этому надо прибавить размалеванные, но выцветшие декорации, качающиеся задники, пустоту на сцене: дворцы отличались от полей только стенами.

Старик гастролер играл на технике, натуралистично. Он не «рвал страсть в клочья», но берег силы и голос и скупился даже на жесты. Как когда-то оперные певцы, он «выложил» себя полностью в одной лишь сцене, в последнем акте. Опустив мертвую Корделию на землю, он раз сорок, не меньше, назвал ее по имени; каждый раз интонация была другой, но ни одна не была фальшивой; затем имя Корделии перешло в предсмертную икоту, с которой Лир умирал. Но в почти клиническом воспроизведении смерти не было ничего оскорбительного, напротив, оно было убедительно и волновало.

Мы возвращались домой и разочарованные и все же довольные, что видели «последнего трагика».

— А знаете, какой самый потрясающий спектакль я в своей жизни видел? — сказал вдруг Исаак Эммануилович.— Он разыгрывался одновременно на сцене и в зрительном зале, и участвовали в нем все, кто пришел в театр. В Одессе был замечательный молодой актер, необыкновенно талантливый и темпераментный, и при-

том редкий красавец — Горелов. Его обожала вся Одесса. А вы знаете, что такое, когда вся Одесса обожает актера? Это значит, что он ходит по городу, как библейский царь: все на него оборачиваются, и у всех в глазах сияют восторг и преданность. У него не может быть врагов: их сейчас же сживут со света. Если в театре вы ему не аплодируете, сосед вас непременно спросит: «Я извиняюсь, вы что, глухой, или слепой, или, не дай бог, то и другое?»

Так вот, Горелов заболел, и заболел смертельно. Он сам этого не знал, но Одесса это знала. Вероятно, никогда в Одессе не было пролито столько слез.

Узнал это и отец Горелова, знаменитый петербургский артист Давыдов. И он приехал посмотреть на своего сына в спектакле, который мог стать последним в жизни молодого актера. Давали «Лорензаччо», Горелов играл заглавную роль.

В Одессе знали, что Давыдов приехал и будет на спектакле. В Одессе все известно. И все пришли в театр. А знаете, что такое, когда вся Одесса приходит в театр? По сравнению с этим в бочке с селедками просторно.

Давыдов сидел в первом ряду. В пьесе пять актов. И все пять актов Давыдов плакал, он смотрел на сцену и плакал. Может быть, он даже ничего не видел из-за слез. Он и в антрактах не вставал с места и плакал. И с ним плакала вся Одесса.

Горелов играл замечательно. Он как будто пел свою лебединую песнь, но люди смотрели не на сына, а на отца. И горько рыдали.

А вы говорите — Цаккони. Хотя Цаккони — очень хороший актер. Итальянцы вообще замечательные артисты.

II

Мы шли по бульвару Монпарнас и говорили о лошадях,— Исаак Эммануилович мог говорить о них часами. Он и в Париже любил ходить в места, где встречались жокеи.

— Большинство ходят на бега и скачки, чтобы играть. Никто не играет, чтобы проиграть. Но выигрывают только две категории — жучки и дамы. Для жучка семья, работа — между прочим, а бега — это жизнь, причем он убежден, что без жульничества прожить нельзя. А дама видит лошадей в первый раз на ипподроме. Ей нравится имя лошади, положим, Ночная красавица. Кавалер говорит ей, что это кляча без всяких шансов. Но дама стоит на своем. И Ночная красавица приходит, после чего дама убеждена, что она поняла всю механику дела. Она ставит только на красивые имена, но они ее неизменно подводят. Если бы она ушла после единственного выигрыша! Но она уже не может уйти.

Ипподром — это театр, где всегда премьера. Но творцы спектаклей не жокеи и не лошади. Режиссер на бегах — это тренер. Сейчас осень, а тренер записывает лошадь на бега, которые состоятся, скажем, 7 апреля в 4 часа дня. И он готовит ее так, что именно 7 апреля, и не в $3^3/_4$ и не в $4^1/_4$, а именно ровно в 4, она оказалась в своей лучшей форме. Может быть, за всю свою жизнь она будет в такой форме только один раз.

Мы почему-то остановились у длинной грязной стены Монпарнасского вокзала. Неподалеку стояли бедные проститутки. Мимо шли разные люди. Никто на нас не смотрел: в Париже не удивляются тому, что

люди выбрали странное место для беседы. Здесь Исаак Эммануилович рассказал мне еще одну историю:

— В Москве до революции на бегах работали американцы, братья Винкфильд. Старший был трезвенник, скопидом, домосед. А младший был кутила, транжира и в общем прохвост. Но зато к лошадям у него было шестое чувство.

Революция. Хозяева конюшен исчезли, бега кончились, лошади реквизированы. Братья уехали за границу. Старший вернулся прямо в Соединенные Штаты и сейчас же получил хорошее место. А младший поехал в Париж и с таким треском прокутил здесь свои деньги, что остался без гроша. В это время в Америке случился очередной приступ ханжества и лицемерия, а так как похождения Винкфильда-младшего были действительно скандальны, то американский консул сообщил о них на родину, и, вернувшись туда, он нигде не смог устроиться. А другие тренеры раздували эту историю, побаиваясь талантливости Винкфильда-младшего. Его, голодного, подобрал какой-то фермер, у которого была крошечная провинциальная конюшня с десятком лошадей. Винкфильд-младший чувствовал себя так, как царский гвардейский офицер, разжалованный в солдаты, но не на Кавказ, а в какой-нибудь Царевококшайск. Владельцы конюшен, тренеры и жокеи с ним не встречались, не разговаривали и не кланялись.

Так прошло года два. Фермер как-то сказал своему тренеру, что хотел бы продать кобылку, что о втором годе, так как убежден, что толку от нее не будет. Винкфильд-младший ответил, что если фермер не будет дорожиться, то он, пожалуй, купит ее сам.

Он начал готовить свою кобылку и тайком записал ее на целый ряд бегов. И когда ей исполнилось два года,

она стала выигрывать один приз за другим. Словом, к концу сезона она сделалась лучшей двухлеткой в Соединенных Штатах.

Фермер сказал Винкфильду: «У меня есть жеребчик, брат этой кобылки, он на год старше. Я уже махнул на него рукой. Но, может быть...» — «Хорошо,— ответил Винкфильд,— но призы пополам». Это были неслыханные условия, но фермер сообразил, что они для него все-таки выгодны. И жеребец-трехлетка повторил карьеру своей сестры.

С Винкфильдом-младшим стали раскланиваться, разговаривать и встречаться. На него посыпались лестные предложения. Но прежде, чем принять одно из них, он на все накопленные деньги заказал в «Вальдорф-Астории», самой большой гостинице в мире, роскошный банкет, с русской икрой и французским шампанским. Он пригласил владельцев конюшен, тренеров и жокеев. И они пришли, набился полный зал, потому что удача — это удача, а шампанское — это шампанское.

— Ну что, сукины дети, можно зарыть чужой талант в землю?

— Смотрите,— сказал вдруг Исаак Эммануилович,— а проститутки все стоят. Ни одна не нашла клиента.

Ф. Левин

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Говорят, что первое впечатление самое верное. Так бывает не всегда. Но бывает. По крайней мере, у меня.

Есть в Москве широкий и короткий Копьевский переулок. На одном конце его здание, в котором ныне Театр оперетты. Другим концом переулок выходит к Большому театру. Здесь в угловом доме на первом этаже в начале тридцатых годов занимало две или три комнаты издательство «Федерация». Проходя теперь мимо, я вижу мутные окна, заколоченную дверь и вспоминаю, с какой робостью и с каким уважением входил я некогда сюда. Здесь перебывали многие и многие ныне живущие и уже умершие знаменитые писатели. Сюда я приходил в 1932 году: мне поручали рецензировать рукописи.

Однажды летом я сидел здесь у окна, перелистывая

какую-то рукопись. За столом просматривал деловые бумаги прелестный и обаятельный человек, журналист и писатель Александр Никанорович Зуев. Мы молчали. Было тихо. Но вот хлопнула дверь, вошел неизвестный мне человек. Зуев поднялся ему навстречу со своей неизменной приветливой улыбкой, пожалуй более обычного радушной. Я мельком взглянул на незнакомца, крепко пожимавшего руку Александра Никаноровича. Коренастая, широкая и плотная фигура, крупный нос, толстые, негритянские губы в веселой и лукавой улыбке, сверкающие стекла очков, за которыми лучились умные, быстрые глаза,— вот все, что я успел заметить.

Зуев, как всегда, говорил неторопливо, тихим, мягким, немного глуховатым голосом, гость улыбался, посмеивался, похохатывал. Последовали взаимные вопросы о здоровье.

— Что давно вас не видно? Где проводите лето? — спросил Зуев.

— В Молоденове,— отвечал гость.

— Что там делаете?

— Работаю.

— А живете где?

— У старушки одной. Древняя уже старушенция. С ней у меня забавный случай произошел.

И гость стал рассказывать, улыбаясь, посмеиваясь, хитро и лукаво взглядывая то на Зуева, то на меня:

— Собрался я как-то в Москву. Старуха говорит:

«Исак, купи мне на саван».

«На саван?»

«На саван, батюшка. Было у меня тут приготовлено, да невестка на рубахи пустила. Помру, дак и завернуть не во что».

«Да что ты, бабушка! — говорю.— Ты здорова, помирать не торопись. Зачем тебе саван?»

«Человек своего часу не знает, саван надобно загодя припасти».

«Чего ж тебе купить?» — спрашиваю.

«Да ты что, Исак, не знаешь, из чего саван шьют? Белого материалу купи али сурового».

Я пообещал и поехал.

Закончил свои дела, пошел по магазинам, посмотрел. Все что-то не то. Бязь какая-то. В общем купил несколько метров шелкового полотна. Приехал, отдаю, смотрю, что будет. Старуха древняя, подслеповатая. Долго она разглядывала, щупала, качала головой.

«Сколько же оно стоит? Дорогое, поди?»

Я смеюсь:

«Сколько бы ни стоило, денег с тебя не возьму».

«Как не возьмешь?»

«Так, не возьму. Это ж на такое дело, что брать нельзя».

Она долго жевала губами, опять щупала и мяла ткань, потом спросила:

«Это что ж за материя такая?»

«Полотно»,— отвечаю.

«Не видала допрежь такого. Хорошее полотно. В жисть такого не нашивала, хоть после смерти в ём полежу».

И спрятала полотно в сундук.

...Гость посмеивался, но чувствовалось, что смехом он скрывал свою растроганность.

— ...Да-а... вот, значит, какая бабуся!

— Может быть, вы что-нибудь новое написали? — спросил Зуев, меняя разговор.— Давайте нам.

— Нет, ничего не написал.

— А все-таки! Может, есть хоть один новый рассказ? Возьмем несколько прежних, прибавим новый и издадим книжку. А? — с надеждой говорил Александр Никанорович.

Гость задумался.

— Есть у меня один рассказ,— нерешительно начал он.— Но, понимаете, в нем нет конца. А у меня, вы знаете,— он развел руками,— это может быть и полгода.

И он опять засмеялся, но на этот раз как-то неловко, будто извиняясь.

— Ну что ж, Исаак Эммануилович, будем ждать,— сказал Зуев.— Только уж вы никуда.

— Конечно, конечно.

Исаак Эммануилович простился. Еще раз блеснули стекла его очков, просияла широкая, добродушно-лукавая улыбка, и он ушел.

— Кто это был? — крайне заинтересованный, спросил я Зуева.

— Бабель,— ответил Александр Никанорович, снова садясь за свой стол.

Должно быть, у меня был очень глупый вид в эту минуту: так поразила меня эта внезапно прозвучавшая фамилия. Я ли не знал «Конармии», «Одесских рассказов»! У читателей моего поколения многие чеканные реплики героев бабелевских рассказов были на слуху, вошли в речевой обиход как афоризмы, как крылатые слова. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики». «Коммунистическая наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает

кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть».

Я долго не мог опомниться: я видел Бабеля.

Много раз после того я встречал Исаака Эммануиловича — в издательствах, в писательском клубе, слышал его с трибуны Первого съезда советских писателей. Но первая встреча резче всего запечатлелась в моей памяти. Почему? Может быть, потому, что тогда я как-то всей кожей ощутил и его жизнерадостность, и веселость, и чувство юмора, и сердечную теплоту к дряхлой бабке и ко всем людям, и великую требовательность к своему искусству художника, который мог месяцами искать единственно необходимые, неожиданные, немыслимые и неповторимые слова, который знал, что тайна фразы «заключается в повороте, едва ощутимом», что «никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

Г. Мунблит

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Нет на свете более трудной задачи, чем описать наружность человека так, чтобы читатель увидел его воочию. Что же до Бабеля, то его наружность описать особенно трудно.

Все в нем казалось обыкновенным — и коренастая фигура с короткой шеей, и широкое доброе лицо, и часто собирающийся в морщины высокий лоб. А все вместе было необыкновенным. И это чувствовал всякий сколько-нибудь близко соприкасавшийся с ним.

Прищуренные глаза и насмешливая улыбка были только внешними проявлениями его отношения к тому, что его окружало. Самое же отношение это было неизменно проникнуто жадным и доброжелательным любопытством. Он был, как мне всегда казалось, необыкновенно проницателен и все видел насквозь, но, в отли-

чие от множества прозорливцев, проницательность порождала в нем не скептицизм, а веселое удивление. Видимо, поводы для этого открывались ему не на поверхности вещей, а в их глубине, где таятся невидимые для невнимательных людей радостные неожиданности.

И еще. Существует такая манера вести себя, которая называется важность. Глядя на Бабеля, даже и представить себе нельзя было, что эта самая важность бывает на свете. И это тоже очень существенная черта его облика.

Наша первая встреча была поначалу вполне деловой. Произошло это году в тридцать шестом, а может быть, немного позже.

В редакции «Знамени», где я тогда работал, редакции предприимчивой, удачливой и честолюбивой, стало известно, что Бабель написал киносценарий. Он давно уже ничего не печатал, и заполучить для журнала новое его сочинение, пусть даже предназначенное для кино, было очень заманчиво.

Долго спорили, кому поручить переговоры с Исааком Эммануиловичем, и наконец выбор пал на меня. Причина была в том, что незадолго перед тем я напечатал в «Литературной газете» статью о бабелевских рассказах, и предполагалось, что мне с ним удастся быстрее поладить.

Переговоры наши начались по телефону, и мне пришлось долго объяснять моему собеседнику, откуда и по какому делу ему звонят. Уразумев наконец, о чем идет речь, Бабель сразу же заявил, что печатать свой сценарий не собирается.

Тогда я принялся исчислять все выгоды и радости, какие сулило бы ему это предприятие, ежели бы он на него решился. Мой собеседник не прерывал меня, и, неведомо почему, я вдруг почувствовал, что он размышляет не о том, что я говорю, а о чем-то другом. Исчерпав свои доводы, я замолчал и стал слушать потрескивание и шорох, хорошо известные всем, кому случалось вести тягостные переговоры по телефону. На мгновение мне показалось даже, что Бабель повесил трубку. Но тут я услышал его мягкий, слегка пришепетывающий голос.

— Приходите, побеседуем,— проговорил он медленно, видимо еще раздумывая, и стал диктовать мне адрес.

На другой день утром я позвонил у дверей крохотного двухэтажного особняка в переулке у Покровских ворот. Бабель сам открыл мне, и мы прошли в большую комнату первого этажа, судя по всему — столовую. Здесь хозяин указал мне на стул, а сам устроился на большом, стоявшем в углу сундуке.

Об этом сундуке я уже слышал прежде. Утверждали, что Бабель хранит в нем рукописи, тщательнейшим образом скрывая их от чужих взоров и извлекая на свет только для того, чтобы поправить какую-нибудь строку или слово, после чего снова укладывает назад пожелтевшие от времени листки, обреченные на то, чтобы пролежать без движения еще долгие месяцы, а быть может даже и годы.

Теперь, увидев сундук своими глазами, я окончательно уверовал в правдивость этой легенды.

Беседа наша поначалу оказалась гораздо короче, чем мне бы хотелось. Видимо, Бабель все обдумал еще

до моего прихода и изложил свое решение кратко и ясно. Сценарий он согласен дать в «Знамя» только для ознакомления. Печатать его в нынешнем виде, по его мнению, нельзя. Это не принесет лавров ни журналу, ни автору. Что же касается договора, то, если редакции сценарий понравится и она поверит в его счастливое завершение, он согласен договор подписать, так как, получив аванс, сможет быстрее закончить работу, не отвлекаясь ничем другим. За рукописью можно прислать дня через два — к этому времени он приготовит для нас экземпляр.

Таким образом, дело, из-за которого я пришел, было улажено быстро и, как говорится, к взаимному удовлетворению.

Минуту мы помолчали. Я встал.

Бабель посмотрел на меня поверх очков и, увидев, что я оглядываю комнату, заметил:

— Это столовая. Она у нас общая с соседом.

И, прочтя в моих глазах безмолвный вопрос, добавил:

— А сосед у меня такой, что о нем можно долго рассказывать... Нет, он не писатель. Он инженер, и не простой, а в высшем смысле этого слова. Вы сядьте, я вам про него расскажу.

Я сел. Нужно ли говорить, как мне была по душе внезапная разговорчивость моего хозяина!

— Я сказал — инженер в высшем смысле,— продолжал Бабель,— но это неточно. Штайнер — инженер до мозга костей, так было бы правильнее о нем сказать. Он на все смотрит инженерским глазом и все вокруг себя стремится упорядочить и усовершенствовать. Инженерская сторона есть ведь во всем, а он только ее и

замечает. И все может сделать своими руками. Как бы вам это объяснить... Ну вот, несколько дней назад утром, уходя из дому, я увидел, что Штайнер возится с дверным замком, который, по-моему, отлично работал, а по его мнению, требовал немедленного ремонта. Вернулся я домой в середине дня. Штайнер лежал на полу, держа замок над головой, и сердито разговаривал с ним. На меня он даже и не взглянул, хотя мне пришлось перешагнуть через него, чтобы пройти в комнату. Через некоторое время я услышал оттуда его голос.

«Тебя сделал плохой мастер,— говорил Штайнер замку,— но я тебя переделаю. Слышишь? Я тебя переделаю, и ты будешь работать как следует, а не только тогда, когда привернут неровно. Что это за мода такая — работать только в неправильном положении?»

Он спрашивал так, что мне почудилось, будто разговор ведется с живым существом, и если бы я вдруг услышал, как замок тоненьким металлическим голосом оправдывается или спорит, я ничуть бы не удивился. Но замку, видимо, нечего было ответить, и он молчал. А часом позднее Штайнер постучался ко мне, сел, вытер платком лоб и сообщил, словно продолжая начатый разговор:

«Все в порядке. Теперь он работает как следует. Но я вам должен сказать, что человек, который стоит на сборке этих замков, негодяй».

И он изложил мне свою теорию происхождения скверно сделанных вещей, которая многое в жизни объясняет. Теория эта состоит в следующем: на свете нет людей, которые брались бы за работу с намерением сделать ее заведомо скверно, с мыслью: «Сделаю-ка

я плохой замок», например. Но горе в том, что, принимаясь за работу с самыми лучшими намерениями, человек слабый и лишенный чувства ответственности на каком-то этапе вдруг обмякает и, вместо того чтобы преодолеть очередную трудность (а ведь всякая работа состоит из больших и малых преодолений), решает, что «сойдет и так». И вот тогда на свет рождаются нелепые, уродливые, глупые вещи, которые портят нам жизнь. Похоже на правду, как вы считаете?

Бабель смотрел на меня искоса и ждал ответа. Мне понравилась теория инженера Штайнера, и я об этом сказал.

Нравится она мне и сейчас. И, вспоминая тот разговор, я подумал, что люди, работающие по принципу «сойдет и так», по всей вероятности, руководствуются этим принципом не только в своей работе, но и в манере жить, и в отношениях с окружающими, и в воспитании детей, да мало ли в чем еще. И не будь у этих людей могущественных противников, вроде бабелевского соседа, в мире воцарился бы хаос и человечество погибло бы в необъятной, бездонной трясине небрежно сработанных вещей, непродуманных дел и опрометчивых слов. Но это, разумеется, шутка. Если же говорить серьезно, то именно Бабель, может быть даже в большей степени, чем его сосед, представляется мне олицетворением высокого чувства долга во всем, что он говорил и думал, а главное — во всем, что писал.

И даже окончание истории со сценарием для «Знамени», которое на первый взгляд противоречит этому моему представлению, на самом деле может служить отличным доводом в его защиту.

Окончилась же эта история так.

В назначенный день рукопись сценария была получена в редакции, и мы сразу принялись читать ее, передавая по листкам из рук в руки. Происходило это в одной из двух комнат Дома Герцена на Тверском бульваре, где помещалось тогда «Знамя», и участвовали в «читке» молодые литераторы, фактически делавшие журнал.

Прочтя сценарий, мы смущенно переглянулись. Был он не то чтобы плох или по каким-либо причинам неудобопечатаем,— вовсе нет. С этой стороны все в нем было совершенно благополучно. Но это был «не Бабель» в том смысле, в каком это говорится о произведениях художников, копирующих картины или рисунки прославленных мастеров, хотя каждая строка в рукописи, лежавшей перед нами, без всякого сомнения, была написана собственной бабелевской рукой.

В живописи самый небрежный набросок, несколько торопливых штрихов, сделанных большим художником на обрывке бумаги, не оставляют сомнений в их принадлежности именно данному автору, носят на себе неповторимый отпечаток его творческой личности, а главное — в какой-то мере выражают его талант.

В литературе — не то. Здесь индивидуальная писательская манера становится явственно ощутимой только после того, как первоначальный набросок будет много раз перечеркнут, выправлен и заново переписан.

В живописи индивидуальность художника ощутима, как почерк, как тембр голоса, как походка. В литературе она становится видна простым глазом лишь после того, как писатель, основательно потрудившись, найдет для своей мысли то единственное выражение, которое характерно для него одного и которое почти никогда не является ему сразу. Даже и самый талант пи-

сателя чаще всего сказывается не в случайно оброненной фразе, а в способах ее обработки, не в словах, какие первоначально вылились на бумагу, а в тех, что в дальнейшем были выбраны автором как «кратчайшее» и наиболее точное выражение его замысла.

Так вот, рукопись, только что прочитанная нами и, вне всякого сомнения, принадлежавшая перу Бабеля, была наброском, еще не отмеченным его манерой, талантом и мастерством. В качестве материала для работы кинорежиссера сценарий был совершенно готов, но украшением для журнала, каким мы представляли себе сочинение Бабеля, он, разумеется, оказаться не мог.

Установив это, мы до крайности огорчились. И только один из нас, самый старший и поэтому больше всех других умудренный опытом и, разумеется, именно поэтому занимающий должность ответственного секретаря редакции, снисходительно улыбнулся и поспешил нас всех успокоить.

— Не горюйте,—сказал он.— Зло еще не так большой руки! — Секретарь знал классиков и любил при случае об этом напомнить.— Договор с Бабелем мы заключим, а ежели он, как это в последнее время с ним частенько случается, не выполнит взятых на себя обязательств, мы эту самую рукопись возьмем и тиснем в нынешнем ее виде и ничего при этом не потеряем. Понятно?

Нам было понятно. Потому что касаемо лавров автору Бабель был прав и ждать радостей от этого своего сочинения ему не приходилось. Но с журналом дело обстояло иначе. Появление в «Знамени» любого сочинения прославленного молчальника при всех обстоятельствах было бы воспринято как подлинная сенсация.

Итак, договор был подписан, аванс автору выплачен, и мы стали терпеливо ждать его сообщения о том, что работа закончена.

Прошел месяц, за ним другой. Бабель молчал. И тогда мне было поручено осведомиться у него, как идут дела, и выяснить, к какому номеру журнала он даст нам сценарий.

Помаявшись и выслушав несколько раздраженных напоминаний от непреклонного секретаря, я наконец нашел в себе силы позвонить Исааку Эммануиловичу и получил приглашение посетить особнячок у Покровских ворот.

И вот я снова сижу в большой, сумрачной в этот осенний день комнате, и снова напротив меня сидит этот загадочный человек, что-то рассказывает, лукаво и победительно улыбаясь, и так же, как в первую нашу встречу, я пытаюсь разобраться в тайне его бесовской власти, заставляющей меня глядеть на все его глазами, и так же, как в прошлый раз, ничего не могу понять.

Может быть, тайна его очарования в этой улыбке? В глазах, весело и внимательно поблескивающих из-за круглых очков? В чуть заметном еврейском акценте, придающем оттенок язвительного и вместе с тем беззлобного юмора всему, что он говорит? Нет, пожалуй, все-таки дело не в этом. Пожалуй, секрет здесь в удивительном даре видеть вещи по-своему и говорить о них так, что они и перед собеседником предстают в неожиданных ракурсах, обретая при этом неожиданный смысл, цвет и значение.

Ведь вот — холодная, не очень уютная комната, мокрое, полуголое дерево за окном, тягостная миссия,

с которой я сегодня сюда пришел, а сижу я в этой комнате с ощущением праздника, и век бы не уходил и слушал этот высокий пришепетывающий голос, век бы провел в стране чудес, где обитает и куда приоткрыл мне дверь этот человек, которому все на свете интересно, мило и весело и который глядит на все словно сквозь цветные стекла, придающие самым будничным вещам видимость праздничного великолепия.

Я принуждаю себя вспомнить, что пришел сюда с прозаическим и суровым служебным заданием, и, хоть это очень трудно дается мне, произношу наконец слова, которые мне было поручено произнести, которые я обязан был произнести, чтобы добыть для «Знамени» сочинение Бабеля, необходимое нам для вящей славы нашего детища. Так же, как и мои товарищи из редакции, я люблю наш журнал и пекусь о его успехе, и это помогает мне найти силы сказать Бабелю о намерении нашего секретаря напечатать сценарий в нынешнем виде, если в ближайшее время мы не получим новый его вариант.

Надо было видеть, как испугали мои слова Исаака Эммануиловича. Как мгновенно исчезла улыбка с его лица, каким озабоченным оно стало при одной мысли о том, что эта угроза может осуществиться.

— Вы еще очень молодой человек,— произнес он грустно и укоризненно,— такой молодой, что, вероятно, никогда не задумывались о том, какая странная у нас с вами профессия. Корпим в полном одиночестве у себя за столом, во время работы боимся каждого нескромного взгляда, а потом все свои мысли, все тайны выбалтываем читателю. Ведь вот, казалось бы,— чего проще? Напечатать этот самый сценарий, как предлагает ваш секретарь редакции... О нем напишут, что

он не поднимается до уровня прежних моих вещей, или, наоборот, что знаменует собой новый этап в моем творчестве... Бр-р, терпеть не могу этих слов — творчество... знаменует... А потом напечатают рассказ, который я сейчас пишу, и все опять станет на место... Ничего страшного. Да? Немного заголиться, а потом прикрыть стыд. Как вы считаете?

— Разве вы еще не начали работать над новой редакцией? — спросил я с некоторым даже ужасом в голосе.

— Над какой новой редакцией? О чем вы говорите?

— Над новой редакцией сценария.

— Нет, не начал. И не начну. Он мне не нравится. Я его написал не для чтения, а для кино.

— Разве вы... Зачем же вы нам его дали?

— Чтобы иметь возможность кончить рассказ. Понимаете?

— Нет, не понимаю. Любой журнал заключил бы с вами договор на этот рассказ. Почему же...

— Почему? Потому, что, когда я его кончу, в нем будет самое большее четыре страницы.

— На машинке? — зачем-то полюбопытствовал я.

— Да. На машинке,— с вежливой язвительностью ответил Бабель.

Мы замолчали. Голое дерево за окном было теперь именно таким, каким ему надлежало быть,— мокрым, уродливым и печальным, да и в комнате стало как-то сумрачно, еще более сумрачно, чем на улице.

— Что же делать?

Я задал этот вопрос, вдруг почувствовав настоятельную потребность найти выход не столько для «Знамени», сколько для Бабеля, интересы которого стали мне почему-то очень близки.

— А черт его знает, что делать! Вероятно, не писать рассказы по четыре странички, да еще тратя на них по нескольку месяцев. Романы нужно писать, молодой человек, длинные романы с продолжением, и писать быстро, легко, удачливо.

Он замолчал и, опершись руками о край сундука, на котором сидел, забарабанил пальцами по его крышке.

— Вы меня не поняли,— сказал я, прижав руку к груди,— я говорю не вообще, а о том, как быть сейчас. Как быть со «Знаменем», со сценарием? Ведь если вы не дадите ничего другого, он его напечатает.

— Нет у меня сейчас ничего другого... Слушайте, а что, если я попрошу вашего секретаря вернуть мне рукопись? Могло же быть так, что у меня не осталось для работы ни одного экземпляра?

Я ответил не сразу. Но через мгновение тишина, воцарившаяся в комнате, показалась мне невыносимой, и я прервал ее с тем чувством, с каким делаешь глоток воздуха, долго пробыв под водой.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, отведя глаза.

— Ничего я не имею в виду,— ответил Бабель и встал.

Я продолжал сидеть. И вдруг, решившись и все еще глядя в сторону, предложил:

— Лучше я с ним поговорю. Вам он рукопись не отдаст.

Бабель посмотрел на меня с удивлением и пожал плечами.

— Пусть будет так,— согласился он. И, помолчав, спросил: — Это вы написали статью о моих рассказах в «Литературной газете?»

Я кивнул. Говорить мне было трудно.

— Я уже не помню, там тоже были эти самые слова — «творчество», «знаменует», «шаг вперед»? —улыбнувшись, спросил Исаак Эммануилович.

— Кажется, были. Во всяком случае, могли быть,— проворчал я.

Хоть я и чувствовал, что в моем решении помочь Бабелю получить назад рукопись не было ничего дурного, мне было до смерти стыдно.

Позднее я понял, что стыдиться здесь было совершенно нечего и удивительный, чуть ли не лучший бабелевский рассказ, над которым он тогда работал (это был рассказ об итальянском трагике ди Грассо), может оправдать любые уловки, необходимые для того, чтобы довести его до конца. Но в тот день, когда, простившись с Исааком Эммануиловичем, я брел по мокрым переулкам и скользким бульварам, и на следующее утро, когда повел с секретарем редакции хитроумные переговоры, неожиданно увенчавшиеся успехом, это чувство стыда не покидало меня ни на минуту.

Разумеется, я понимал, что интересы «Знамени» и редакционный патриотизм не должны заслонять от меня целей гораздо более высоких и значительных. Не мог я не понимать и того, что, дождавшись, когда Бабель даст нам рассказ вместо сценария, мы поступим умнее и дальновиднее, но, понимая все это, собственную мою роль во всей этой истории я продолжал считать недостойной, а о вероломстве Бабеля старался не вспоминать.

Теперь я думаю обо всем этом совершенно иначе. Теперь, множество раз перечитав его сочинения, перелистав пожелтевшие странички его писем, записок и заявлений, установив, что рассказ «Любка Казак» был

переписан двадцать два раза вспомнив то, чему сам был свидетелем, я с полной уверенностью могу утверждать, что Бабель, преследуемый кредиторами самых разных профессий и рангов, редакторами толстых и тонких журналов, имевших неосторожность заключить с ним договоры, юрисконсультами издательств, пытавшимися поправить последствия легкомысленной тороватости своих шефов, Бабель, о затянувшемся молчании которого в тридцатые годы писались статьи и фельетоны, произносились речи на писательских пленумах, даже, кажется, пелись куплеты с эстрады,— что этот лукавый, неверный, вечно от всех ускользающий, загадочный Бабель был человеком с почти болезненным чувством ответственности и героической добросовестностью, человеком, готовым вытерпеть любые лишения, лишь бы не напечатать вещь, которую он считал не вполне законченной, человеком, для которого служение жестокому богу, выдумавшему муки слова, было делом неизмеримо более важным, чем забота о собственном благополучии и даже о своей писательской репутации.

А теперь я расскажу о маленьком чуде (мне вдруг подумалось, что оно, может быть, было и не таким уже маленьким, но пусть судит об этом читатель), которое Бабель совершил на моих глазах вскоре после происшествия со сценарием.

Эта история началась с того, что Исаак Эммануилович позвонил мне по телефону и, сообщив, что собирается прислать к нам в редакцию одного начинающего писателя, просил повнимательнее к нему отнестись. Разумеется, я обещал ему это со всеми радушием

и обязательностью, на какие был способен в те далекие времена, когда все подобные формы человеческого общения считались предосудительно старомодными.

На другой день посланец Бабеля явился в редакцию.

Это был очень странный начинающий писатель. Маленький, кривоногий, одновременно тщедушный и жилистый, с пергаментным лицом, по которому решительно нельзя было определить его возраст, он бочком протиснулся в дверь и, пожав мне руку своей маленькой, похожей на птичью лапу, рукой, оказавшейся на ощупь твердой, как камень, положил передо мной на стол тощую папочку.

Любопытство разбирало меня, и не успел посетитель уйти, как я развязал на папке тесемки и принялся за чтение.

Рукопись представляла собой несколько рассказов, о которых у меня сейчас сохранились самые смутные воспоминания. Помню только, что речь в них шла о лошадях, что рассказы показались мне ничем не примечательными и что о печатании их не могло быть и речи. Почему они могли понравиться Бабелю, было мне совершенно неясно.

Не откладывая дела в долгий ящик, я тут же позвонил Исааку Эммануиловичу и рассказал ему о моем впечатлении. Мне показалось, что он немного смутился.

— Ладно, если у вас есть возможность, пришлите мне рукопись, я в ней поковыряюсь,— сказал он и повесил трубку.

У меня такая возможность была, и назавтра наша редакционная курьерша Шурочка, худенькая молодая женщина, знавшая почти всех московских писателей и

очень здраво и осмотрительно распределявшая между ними свои симпатии и антипатии, отнесла Бабелю злополучную папку. Кстати, Шурочка утверждала потом, что в жизни не видывала таких вежливых и стеснительных чудаков.

Прошло несколько дней. И однажды, не позвонив предварительно, начинающий писатель с кривыми ногами снова явился в редакцию и, ни слова не говоря, снова положил передо мной свою рукопись.

Теперь я не испытывал к ней никакого интереса и удосужился взяться за нее далеко не так скоро, как в прошлый раз. К моему удивлению, в папке было всего только два рассказа. Но, прочтя их, я почувствовал страстное желание немедленно выбежать на улицу, чтобы рассказать их историю всем без исключения друзьям и знакомым. Редакционные мои товарищи, ставшие первыми жертвами моего энтузиазма и разделившие его полностью, показались мне для этого недостаточно широкой аудиторией.

Надо сказать, что удивляться и восхищаться здесь действительно было чему. Рассказы стали попросту превосходными!

Те самые рассказы, которые две недели назад были вполне посредственными, теперь светились и искрились так, что читать их было истинным удовольствием. И самое удивительное заключалось в том, что достигнуто это было совершенно чудесным способом.

Однажды Бабель сам рассказал о том, как некий молодой литератор, очутившийся в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег, помогает богатой и неумелой почитательнице Мопассана переводить «Мисс Гарриэт». В переводе, сделанном этой дамой «не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей,

с длинным дыханием страсти», и герой «всю ночь прорубает просеки в чужом переводе».

«Работа эта не так дурна, как кажется,— пишет Бабель.— Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два».

Это место из бабелевского рассказа множество раз цитировалось, но я не могу удержаться, чтобы не привести его вновь, потому что написать об этой тайне превращения посредственной фразы в хорошую никто до сих пор не сумел лучше, чем Бабель.

Есть такая манера исправления чужих сочинений, когда поверх зачеркнутых строк правщик лепит новые строки, которые, в лучшем случае, сохраняют всего лишь смысл того, что было написано автором.

Здесь было совсем другое. Пять-шесть поправок (и притом незначительных) на страницу — вот все, что сделал Бабель с сочинениями своего питомца. Пять-шесть поправок! И страница, перед тем ни единой своей строкой не останавливающая внимания, словно равнина, по которой бредешь, думая только о том, как бы поскорее дойти до ее конца, стала живописной, как лесная тропа, то и дело дарящая путнику новые впечатления. Я бы не поверил, что такое возможно, если бы не убедился в этом своими глазами. Но я это видел и считаю своим долгом засвидетельствовать истинность всего здесь рассказанного.

К тому же в происшествии этом была еще одна сторона.

Однажды мы рассказали о чуде, сотворенном Бабелем, нашему постоянному автору и другу журнала, биографу Свифта и поклоннику Бернарда Шоу, Михаи-

лу Юльевичу Левидову, печатавшему в «Знамени» язвительные критические статьи о литературе и публицистические заметки на международные темы.

Выслушав эту историю и пробежав в гранках рассказ, о котором шла речь, Михаил Юльевич весело расхохотался.

— А вы не догадываетесь, в чем здесь дело,— я имею в виду, конечно, не правку, а причину, из-за которой Бабель заинтересовался этим начинающим писателем, как вы его называете? — спросил он, похохотав.

Мы недоуменно переглянулись.

— Не все ли равно, почему он заинтересовался? — заметил кто-то из нас.

— Разумеется, все равно,— согласился Левидов.— Я понимаю, что самое интересное здесь именно чудо, сотворенное Бабелем. Но вам все же следовало бы знать, что он давний и пламенный ценитель и завсегдатай бегов, а автор этих рассказов, судя по вашим описаниям да и по его собственным сочинениям, не кто иной, как наездник. Вот и пораскиньте мозгами и попытайтесь понять, откуда это знакомство и почему Бабель подарил этому человеку свое высокое покровительство.

Дальновидный наш секретарь вперил в меня свои устроенные в форме буравчиков глазки, острый блеск которых с трудом умеряли роговые очки, и спросил, прищурившись:

— И после этого вы все еще будете утверждать, что мы получим обещанный сценарий или рассказ у вашего Бабеля, который играет на скачках и водится с наездниками и лошадьми? Помните, как у него у самого сказано в «Закате»? «Еврей, который уважает раков, может себе позволить с женским полом больше, чем себе

надо позволять, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и биллиардисты»!

Секретарь процитировал Бабеля почти точно, лишний раз оправдывая свою репутацию литературного начетчика, на меня же и самая эта цитата, и то, как к месту она была приведена, произвело очень тягостное впечатление. Здесь и впрямь было отчего загрустить.

И все же финал этой сцены, несмотря ни на что, оказался мажорным.

— Прежде всего,— заметил Левидов, обращаясь к редакционному секретарю,— не следует путать скачки с бегами. Мне, как лошаднику, тяжело это слышать. А потом разрешите сказать вам, что вы не знаете Бабеля. Он настоящий чудак, а настоящие чудаки никогда не действуют в зависимости от выгоды или исходя из чего-нибудь такого, чем руководствуются другие люди.

Упомянув о «других людях», Левидов принялся разглядывать секретаря безо всякой нежности, и можно было предположить, что в споре между «другими людьми» и чудаками он сочувствует чудакам. А покончив с разглядыванием и повернувшись к нам всем своим маленьким, костлявым, стариковским корпусом, он закончил свою речь так:

— Самое же смешное во всей этой истории то, что Бабель никогда не играл на бегах. Слышите? Никогда не играл и не играет. Просто он без памяти влюблен в лошадей, и на ипподроме, в этом богом проклятом месте, где люди сходят с ума от азарта и жадности, он смотрит только на них. Понимаете? Только на лошадей и ни на что другое. А вы говорите — раки!

...Было время, когда деятели РАПП сочинили и принялись прилежно распространять легенду о Бабеле как об отшельнике, как о человеке, далеком от современности, как о таком, что ли, буржуазном специалисте, который мастерски делает свое дело, не задумываясь о том, чему он служит и чему служат плоды его трудов. Рассказывали, что редактор одного из наших толстых журналов пригласил Бабеля к себе и, усадив в мягкое, глубокое кресло, такое глубокое, что сидящий в нем человек начисто терял чувство собственного достоинства, стал убеждать его познакомиться с жизнью, написав для начала «что-нибудь о тружениках метро». Рассказывали, что редактор этот, впервые в тот день познакомившись с Бабелем, сразу же стал говорить ему «ты» и называть его просто Исааком.

Выслушав наставления своего нежданного литературного покровителя, Исаак Эммануилович встал с кресла и благодушно заметил:

— Слушай, дружок, а не поговорить ли нам о чем-нибудь другом? О литературе у тебя как-то не получается.

Покровитель не сразу понял, что́ ему было сказано. Он привык фамильярничать сам, но никогда и не предполагал, что ему могут ответить тем же. А пока он собирался с мыслями, Бабель вежливейшим образом откланялся и ушел.

Говорят, беднягу долго потом отпаивали валерьянкой, утешая рассказами о том, как упорен Бабель в своих заблуждениях и как с ним и прежде ничего не могли поделать все пытавшиеся обратить его на путь истины.

Что же до виновника всех этих треволнений, то он и после описанного здесь разговора продолжал прово-

дить жизнь в разъездах по колхозам и городкам, не всегда отмеченным на карте кружками, продолжал завязывать знакомства и дружбы с людьми самых разнообразных профессий, продолжал жадно всматриваться в приметы нового в душевном обиходе советских людей, приметы, о которых он и прежде так великолепно писал в «Карле-Янкеле», в «Нефти», в «Марии».

Однажды мне посчастливилось присутствовать при беседе Исаака Эммануиловича с молодыми писателями. Он говорил в этот вечер о разном, и в частности — о столь необходимом писателю любопытстве и способности удивляться. Но самым важным мне показались его высказывания о Толстом. Я записал их и перескажу сейчас с почти стенографической точностью.

— Я очень удивился,— сказал тогда Бабель,— узнав, что Лев Николаевич весил всего три с половиной пуда. Но потом я понял, что это были три с половиной пуда чистой литературы.

— Что это значит? — спросил кто-то из сидевших за большим столом, за которым велась беседа.

Мне показалось, что Бабель не расслышал вопроса. Во всяком случае, начало его следующей фразы было не похоже на ответ человеку из-за стола.

— У меня всегда, когда я читал Толстого, было такое чувство, словно мир пишет им,— произнес он медленно и задумчиво.— Понимаете? Его книги выглядят так, будто существование великого множества самых разных людей, животных, растений, облаков, гор, созвездий пролилось сквозь писателя на бумагу. Как бы это сказать поточнее?.. Вам известно, что в учебниках физики называют «проводниками» и что имеют в виду, когда говорят о сопротивлении, которое оказывает проводник электрическому току, текущему в нем? Так вот,

совершенно так же, как и в случае с электрическим током, среди писателей есть проводники, более или менее близкие к идеальным. Толстой был идеальным проводником именно потому, что он был весь из чистой литературы.

Не надо думать, что писательский талант состоит в умении рифмовать или сочинять замысловатые, неожиданные эпитеты и метафоры. Я сам этим когда-то болел и до сих пор давлю на себе эти самые метафоры, как некоторые не очень чистоплотные люди давят на себе насекомых.

И именно поэтому я говорю вам! Как можно меньше опосредствований, преломлений, стараний щегольнуть способом выражения! Высокое мастерство состоит в том, чтобы сделать ваш способ писать как можно менее заметным. Когда Толстой пишет: «во время пирожного доложили, что лошади поданы»,— он не заботится о строении фразы, или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя. Или представьте себе человека, выбежавшего на улицу с криком: «Пожар!» Разве он думает о том, как ему следует произнести это слово? Ему это не нужно. Самый смысл его сообщения таков, что дойдет до всякого в любом виде. Пусть же то, что вы имеете сообщить читателю, будет для вас столь же важным, пусть в поисках выражения ваших замыслов перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: «Точность и краткость есть первые достоинства прозы».

Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись,— он иногда улыбался так, что, глядя на него, казалось, будто греешься у огня,— предложил:

— Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом?

И принялся рассказывать байки про старика, так твердо верившего в существование вседержителя, что это следовало называть уже не верой, а уверенностью. Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений.

Как жаль, что их не слышал редактор, призывавший Бабеля изучать жизнь. Он бы, разумеется, тоже устал от них, но это по крайней мере пошло бы ему на пользу.

С тех пор утекло много воды. Так много, что Бабель, доживи он до наших дней, был бы совсем стариком. И только книги, которые он написал, остались навсегда молодыми.

Молодым осталось и стремление Лютова, робкого очкастого юноши, попавшего в Конную армию, заслужить уважение товарищей по оружию, и горячая, безрассудная удаль окружающих его конармейцев, и горести еврейского мальчика, рвущегося из подвального мещанского захолустья в широкий мир, полный солнца, мужества и поэзии, и благородство, которое пробуждает своим искусством в душах провинциальных негоциантов и театральных барышников итальянский трагик ди Грассо, и, разумеется, непобедимое, непоколебимое убеждение создателя всей этой пестрой, многоликой и разноголосой толпы, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, какими бы тяжелыми ни были испытания, выпадающие на долю его обитателей.

Убеждение это следует ценить особенно высоко: ведь Бабель на собственном опыте убедился, как нелегко завоевывается власть над сердцами читателей и ка-

ким нескончаемо длинным и каменистым бывает писательский путь, если писатель единственным своим героем делает правду. Он прошел этот путь, ни разу с него не свернув, он научился писать о торжестве добра, благородства и мужества, не скрывая от читателя, что на свете существуют зло, измена и трусость. Повидав на своем веку немало смертей, он писал в своих книгах не о них, а о жизни. Ведь его вера в лучшее будущее не была мечтой о собственном счастье, да и самое счастье он, истинный сын своего времени, всегда представлял себе добытым в бою и пахнущим порохом.

Сергей Бондарин

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

В доме номер 19 по Ришельевской улице, на углу Жуковского (а в прежние времена Почтовой), на третьем этаже, с улицы, жил мой приятель гимназист Доля, сын популярного зубного врача, а над ними, этажом выше, жила семья Бабель.

Они жили дружно.

Для одной стороны было лестно и выгодно дружелюбное соседство первоклассного дантиста, другая сторона ценила верхних жильцов именно за их высокую нравственную репутацию, за то, что глава семьи, старый Эммануил Бабель, достойно нес свои обязанности коммерческого агента заморской фирмы сепараторов до самых последних дней.

В наших с Долей глазах сепараторы — это было что-то вроде велосипедов, тоже поставляемых в Одессу... за-

граничными фирмами, они имели неплохой спрос среди хуторян плодоносной Одесской губернии.

Но главное заключалось не в этом.

Не это составляло привлекательность близкого соседства.

Долина семья была семьей литературной, то есть здесь выписывали модные журналы с приложением, ходили в литературно-художественный кружок. Кажется, среди пациентов Долиного папы были Бунин и Алексей Толстой, в приемной за журналами я не раз видел Утесова и Клару Юнг.

Разумеется, Доля писал стихи и рассказы и, вопреки обычному, не делал из этого секрета,— наоборот, за семейным столом частенько слушали произведения Доли и одобряли их. Вероятно, догадывались, что и моя дружба с Долей — я, правда, был мальчик незаметный, демократический — тоже основана на общности литературных интересов. Иногда вежливо намекали, что не прочь были бы послушать и мои произведения, но я отмалчивался.

А между тем, конечно, я тоже писал. Помню и теперь тетрадки, в которые тщательно записывались эти сочинения. Как правило, сочинения отличались величавостью. Во вкусах мы резко расходились с Долей, у которого сказывалась наблюдательность, интерес к житейскому и даже смешному: он мог карикатурно описать пациентов отца, дожидающихся приема, или ухватки размашистой горничной Веры, или гимназического преподавателя, или какую-нибудь уличную, а то дворовую сценку. Нет, меня влекли образы вечные. Мои произведения назывались: «О том, как это было, или Изгнание из рая», «Огненные языки Апокалипсиса» —

и все в таком роде. Я подробно описывал, чего следует ждать грешным людям, и, признаюсь, кроме других причин, это тоже была причина, мешавшая мне спать по ночам. Соблазны дня и вечерних улиц мешались в моем воображении с ужасом возмездия. Разверзается земной шар, как расколовшееся яйцо, и выливается из недр пламя, карающее порок... А в картинах грехопадения праотцев я очень сострадал мною заботливо описанной, нежной, кроткой, беспомощной, золотистой, как у Луки Кранаха, Еве, поддавшейся соблазну и вдруг почувствовавшей свою наготу. Девушка рысцой убегает от преследующего ее свирепого архангела, а вдогонку за ними мужественно шагает Адам, весь в шкурах. Прелестная,— не знает, куда девать девичьи руки, двух не хватает, чтобы прикрыть стыд. По всему саду с укором падают яблоки и груши...

Надо еще сказать, что в Одессе только-только кончилась война. Был первый год утверждения советской власти, война на улицах кончилась, продолжалась война на западной границе страны, с белополяками. Мы уже знали о Конной армии Буденного и Ворошилова, о ее победах, и это становилось одной из преобладающих тем в семейных разговорах.

Я не совсем понимал, в чем дело, но, по-видимому, о доблестях Красной Армии и конницы Буденного Доля наслушался именно от Бабеля-младшего, сына Эммануила Исааковича, Исаака Эммануиловича, который сравнительно недавно приехал из Петрограда и теперь служил в ГИУ — Государственном издательстве Украины.

Говорили о том, что, вопреки желанию отца видеть сына хорошим коммерсантом, известным юристом или знаменитым скрипачом, сын Исаак стал писателем, его

хвалил Максим Горький и он уже печатал свои произведения в Петрограде.

Как-то я застал Бабеля-старшего у Доли, он беседовал с Долиным папой, он говорил:

— У вас высокая клиентура, у вас замечательно талантливая дочь (у Доли была сестра), я понимаю, что девочка должна трудиться,— это очень хорошо, что она так долго, усердно играет гаммы. Но, знаете, Исаак... мой Исаак... он, бедный, тоже с утра трудится над чистым листом бумаги. Что поделаешь! Вы извините меня, пожалуйста, я передаю просьбу Исаака, он так хорошо относится к вашему Доле, всегда находит для него время... Исаак говорит, что утром правда яснее.

Просьба Бабеля была уважена беспрекословно. Впрочем, кажется, через некоторое время Бабель-старший опять приходил с просьбой обратной: нельзя ли музыкальные упражнения — гаммы и ганоны Долиной сестры — перенести с вечернего на утреннее время?

Все это присказка. Рассказ идет к тому, что в один прекрасный день Доля решил раскрыться перед Исааком Эммануиловичем и показать ему свой, на его взгляд, самый лучший рассказ.

Этот рассказ я знал. Как всё у Доли, и он был основан на действительности,— описывался один из эпизодов недавней гражданской войны. Возвращаясь из гимназии, Доля все это видел своими глазами.

По длинной безлюдной улице, ведущей к Карантинному спуску в порт, где отступающая белогвардейщина грузилась на пароходы, грохоча и подпрыгивая на булыжниках мостовой, бешено мчались извозчичьи дрожки. Извозчик нещадно хлестал лошаденку, за его спиной, лицом к задку, с револьвером в руке, во весь рост стоял красивый молодой офицер, другой рукой придер-

живая прильнувшую к нему даму. Время от времени, подбадривая извозчика, офицер стрелял у него над ухом, но не отводил глаз от перспективы улицы — вдали, наверху, уже показалась тачанка, по-видимому преследующая беглецов. Дрожки промчались, скрылись, промчалась тачанка. Все затихло.

Вот эта эффектная картина жизни и вдохновила Долю. Его можно понять — это действительно было интересно! И мы с Долей не сомневались, что на любого читателя рассказ произведет такое же потрясающее впечатление, какое он произвел в кругу семьи (Долина мама все вскрикивала: «И это ты видел своими глазами!»), а Бабель-младший, писатель из Петрограда, несомненно, признает в Доле своего собрата.

Несколько дней ожидания были мучительны. Милый мой дружок Доля, хорошенький, благовоспитанный мальчик, весь в маму, за эти дни подурнел. Мне он сказал:

— Теперь на очереди ты. Не дури — приготовь собрание сочинений.

И я, поддавшись, как первобытный Адам, искушению, проводил ночи за каллиграфической перепиской самых ценных своих произведений.

Бабеля-младшего я видел раз или два на полутемной лестнице, запомнил живой, любопытный взгляд из-под круглых очков, неторопливость этого человека. В ожидании мы сдали, не выдержали, решили подтолкнуть дело, приискали какой-то повод и постучались к Бабелям — тока не было, и звонки не действовали.

Нас впустили. В темной передней пахло, как во всех передних приличных квартир того времени,— обоями, калошами, шубами,— но тут пахло еще английским мылом и чуть-чуть — самоварным дымком: наподалеку

посвистывал самовар, и загадочно светились его темно-красные огоньки.

Эти две особенности бабелевского быта — любовь к хорошему мылу и к чаю из самовара — я встречал не раз и позже. Исаака Эммануиловича, кажется, дома в тот час не было. Долю пригласили за делом в комнату, я подождал его, и ушли мы ни с чем.

Но уже следующий мой визит к Доле был счастливее.

Я застал в семье легкий переполох. «Исаак Эммануилович сказал,— сообщил мне Доля,— что сегодня он придет сам, ты явился кстати».— «Как же так,— удивился я,—ни с того ни с сего?» — «Почему ни с того ни с сего? А рассказ? Он встретил Веру и сказал: «Передай, что сегодня я приду к ним пить чай».

С особенной тщательностью готовились к вечернему чаю.

И вот Исаак Эммануилович пришел. С замиранием сердца я услышал его голос в передней. Сели за стол. Конечно, у соседей было о чем поговорить еще, кроме как о литературе: гость спросил об успехах юной пианистки, о том, как обстоит теперь с золотом, необходимым в зубоврачебной практике, о том, как теперь думают преподавать латынь в гимназии у Доли,— и тут, естественно, разговор соскользнул на темы литературные. Поговорили о Леониде Андрееве, о Федоре Сологубе, о Кнуте Гамсуне. Особенно приятно было вспомнить личное знакомство с Буниным, кажется, даже с Куприным.

Я косился на Долю, переживал за него и был счастлив, что я сам малоприметен за столом. И в самом деле, я так пригнулся, что мой подбородок и блюдечко со свежим абрикосовым вареньем едва возвышались над

столом, Доля же, наоборот, держался молодцом, смотрел опасности прямо в глаза, как, вероятно, тот самый офицер-герой, которого он описал в рассказе.

Ну вот, Исаак Эммануилович повел бровями, слегка морща лоб, оглядел Долю из-под очков и вынул из внутреннего кармана пиджака тетрадку производства одесской писчебумажной фабрики Франца Маха, то есть ученическую тетрадь высшего сорта. Таких не было и у меня.

Примолкли и взрослые.

Доля сидел рядом со мной, и я слышал, как стучит его сердце.

— Доля,— сказал гость и помолчал.— Доля, ко мне пришел сапожник (я ужаснулся и не в силах был поднять глаза) и принес заказанную работу. На кого я буду смотреть сначала? На сапожника или на башмаки? Я буду смотреть, конечно, на башмаки, а потом, если останусь доволен работой, я ласково посмотрю на сапожника. Сапожник хорошо выполнил заказ. (Глаза Доли блеснули, но мне все это вступление казалось подозрительным.) Сапожник выполнил работу с шиком. Давайте, однако, подумаем: ведь он долго этому учился! Сначала он был мальчиком у другого сапожника, потом возвысился до подмастерья и мастером стал далеко не сразу. Нет разницы в учении, чему бы ты ни учился. А зачем же думать, что можно сразу научиться хорошо писать? Быть мальчиком на побегушках—горько, в чужой сапожной мастерской неуютно. Ах, Доля, этим мальчикам было гораздо хуже, чем нам с тобою! Мы всегда пили чай с вареньем. Ты учишься в гимназии седьмой год и будешь еще учиться, ты мальчик неглупый, теперь все ясно, и теперь можно смелее сказать несколько слов об этом.— Исаак Эммануилович по-

ложил Долину тетрадь на стол, осторожно разгладил ее тыльной стороной ладони, снял и протер очки, закончил: — О том, что ты сочинил. Интересно! Интересный случай из жизни! Офицер, дама, извозчик. Бегут. В порту эвакуация. Да какая эвакуация! Беглецов настигает большевистская тачанка. Интересно, ничего не скажешь!

— Григорьевская,— робко уточнил Доля,— григорьевская тачанка. Атаман Григорьев.

— Ну, может быть, это неясно. Но как ты можешь знать, ты, Доля, о чем так много — по твоим словам — в момент погони думал офицер и о чем думала дама? Кто она? Невеста? Похищенная жена? Как ты можешь знать это? А офицер, наверно, думал только об одном: уйти!

— А вот же Толстой пишет, о чем думают и в битве,— опять попробовал защищаться Доля.

Взрослые следили за разговором, затаив дыхание.

— Толстой! — строго воскликнул Бабель.— То, что знает Толстой и что ему можно,— разве нам можно? Толстого читаешь — и кажется: вот еще только одна страничка — и ты наконец поймешь тайну жизни. Это дано только ему. И Толстой, и Бетховен,— при этом Бабель посмотрел в сторону юной пианистки,— и Федор Сологуб пишут и о жизни и о смерти, но после того, как ты знаешь, что думает о смерти Толстой, незачем знать, что думает по этому поводу Сологуб...

— Исаак Эммануилович,— решился осторожно вступить в разговор Долин папа,— вам и карты в руки... Но извините, пожалуйста, может, не нужно так ошарашивать Долю? Мне кажется — это ему говорил и учитель в гимназии,— у него есть способности. И Фе-

дор Сологуб, знаете, все-таки очень оригинальный писатель!..

— Федор Сологуб оригинальнейший писатель,— быстро заговорила Долина мама,— но, конечно, Толстой, конечно, Толстой... Исаак Эммануилович прав, и пускай мальчик тоже думает об этом. Судить надо по лучшим образцам.

— Всех нас будут судить последним Страшным судом,— заметил Бабель и попросил налить ему еще стакан чаю,— а Долю судить еще не за что. Слушайте! Расскажу вам смешную историю. Вы знаете, что я служу в ГИУ. На днях нам выдавали там паек, все ждали, что будут рубашки, но вместо рубашек выдали манишки, и на другой день многие сидели за столами, несмотря на жару, в накрахмаленных манишках... Доля...

И вдруг на полуслове Бабель обратился ко мне:

— А что ж это вы все молчите? Вы мороженое любите? Хотите, заключим с вами конвенцию: я буду водить вас с Долей к Печескому и угощать мороженым, а вы будете мне рассказывать разные случаи из жизни и на Страшном суде.

Не мог Бабель знать мое сочинение о Страшном суде, но я на минутку готов был заподозрить своего друга в предательстве: в сочинении о конце мира и о Страшном суде я, кстати сказать, вывел и себя со свитком своих грехов, простертым к Престолу.

Между тем гость, изящно отодвинув стул, встал, прошелся по комнате. В лице этого человека, вдруг обращенном ко мне, я почувствовал веселость и непреклонность, то, что взрослыми словами можно назвать духовным здоровьем, что-то чарующее было в без-

условной чистоте и доброжелательстве его мыслей. Он говорил уже примиренно, спокойно о том, что на месте Доли он лично больше внимания уделил бы не тому, что думают в момент опасности офицер и таинственная дама, а состоянию бедного извозчика, у которого над ухом стрелял офицер. Бедняк вынужденно загонял свою лошаденку. А что его ждало дальше? Вот уж действительно есть над чем подумать!

— Стар он был? — спросил Бабель у Доли.

Но Доля на этот вопрос ответить не мог.

— Вы убили меня, Исаак Эммануилович! — твердил Доля.

И Бабель на это в свою очередь ответил ему теми словами, которые я запомнил навсегда и справедливость которых впоследствии подтвердил весь опыт моей жизни. Именно это последнее заключение Бабеля-младшего, Долиного соседа из верхней квартиры, эти его слова, порожденный ими образ остались тогда в моем юном представлении как образ человека, к кому и мне суждено было сначала только прикоснуться, а потом узнать больше.

— Так что же,— горько сетовал мой Доля,— значит, мне совсем не писать? Вы убили меня, Исаак Эммануилович.

И Бабель ему на это сказал:

— Доля! Мы на войне. Все мы в эти дни можем оказаться либо на дрожках, либо в тачанке. И вот что скажу я тебе сейчас, а кстати, пусть намотает это на ус и твой молчаливый товарищ: на войне лучше быть убитым, чем числиться без вести пропавшим.

Вскоре — к осени, в ненастный день,— я узнал от Доли, решившего стать врачом, что накануне, в такую же пасмурную, дождливую ночь, Бабель-младший то-

же перестал трудиться над чистым листом бумаги и, собственно говоря, сбежал из дома на польский фронт, как потом выяснилось, хитро заручившись мандатами.

В семье Бабеля, говорил Доля, считают, что Исаак Эммануилович — самоубийца. Его коммунистические дружки из губкома и ГИУ, где Бабель служил главным редактором, эти дружки-приятели подговорили его на этот безумный шаг. Так думают в семье наверху. В семье — отчаянье, а в душе беглеца... Что должно было быть на душе у Исаака Бабеля, кому было суждено через два года вернуться с записками о Конной армии?

Но вот еще одна из последних встреч, когда невольно Исаак Эммануилович как бы вынес и на мой суд (а точнее сказать, на суд всех его литературных друзей) свои новые рассказы, о существовании которых все мы уже не раз давно слышали и с нетерпением ждали. Расскажу об этом эпизоде.

Не скажу с уверенностью, где, в чьем доме, было это. Почему-то кажется мне, что чтение было назначено в служебных комнатах Театра Вахтангова. В этот вечер, впервые после долгого молчания, Бабель обещал новые рассказы. Театру же он обещал пьесу, и этим, должно быть, объясняется особенная заинтересованность и гостеприимство театра.

Охотников послушать прославленного новеллиста собралось много. Здесь же я встретился с Ильфом, и мы вместе ждали появления земляка.

Бабель поднимался по лестнице, окруженный дру-

зьями. Мы увидели в толпе покатые плечи и лохматую, начинающую седеть голову Багрицкого.

Бабель поднимался не торопясь, от ступеньки к ступеньке, переводя дух. Озираясь через круглые очки, закидывал голову; при этом его румяное лицо, как всегда, казалось веселым, взгляд любопытным. С толпой вошел оживленный говор. Но веселость Исаака Эммануиловича была обманчивой. Предстоящее дело чтеца, очевидно, заботило его.

Начали без запоздания.

Создатель трагических рассказов всегда любил шутку и шутить умел. Помнится, и тут тоже, проверяя нашу готовность слушать его, он начал шуткой. Но конечно же на этот раз за шуткой он не чувствовал пророческого смысла случайных слов, сказанных из-за столика:

— Предвижу, что именно меня погубит. Мой скверный характер. Это он нанесет меня на риф... Ну, скажите, зачем я опять согласился испытывать себя и ваше терпенье?

Затем, сразу став серьезным, Бабель поправил очки и, заново наливаясь румянцем, приступил к чтению. Он сказал:

— «Гюи де Мопассан».

...Бабель читал в манере, знакомой нам еще по встречам в его квартире на Ришельевской улице,— неторопливо, внятно, хорошо выражая ощущение каждого слова.

Вторым был прочитан рассказ «Улица Данте». Не замечая легкого шороха внимания, возникающего то здесь, то там, я вслушивался в звуки чтения, следил за развитием сюжета, ожидая разгадки: «К чему бы все это?» — и чувствовал недоумение. Больше! Я был озадачен: то,

о чем повествовал Бабель, казалось мне не заслуживающим серьезного рассказа. Я не узнавал автора «Смерти Долгушова» или «Заката». Особенно озадачил меня рассказ о том, как бедствующий, нищий автор заодно с богатой петроградской дамой переводили «Признание» Гюи де Мопассана.

Выразительность эротической сцены обожгла воображение, но как и чем это достигалось? Я не задумался над этим, не оценил ни тонкого заимствования из мопассановской новеллы, ни всего чудно-музыкального строения рассказа Бабеля.

Чтение кончилось. Чувство недоумения не оставляло меня, но вместе с тем не оставляло меня и то мне непонятное, что слово за словом, как ступенька за ступенькой, откладывалось и накапливалось во мне во время чтения.

Публика расходилась. Разрумянившийся Ильф, счастливо блестя улыбкой и крылышками пенсне на глазах, поставленных слегка вкось, вздохнул, сказал застенчиво:

— Вот как! Хорошо темперированная проза. Действует как музыка, а как просто! Вот вам еще одно свидетельство, что дело не в эпитетах. С этим нужно обращаться экономно и осторожно — два-три хороших эпитета на страницу,— не больше, это не главное, главное — жизнь в слове.

Помнится, как раз в этот период — а «Двенадцать стульев» уже имели широкое признание — у нас не раз возникали дебаты о значении эпитета в художественном произведении.

На этот раз я промолчал.

Повторяю признание: в этот вечер я не понял рассказов Бабеля, как не понимал я в ту пору духовного

мученичества долгих, многолетних или недолгих, но всегда честных молчальников искусства, ищущих истины, как не понял важного значения слов, сказанных однажды Бабелем об одном из нас: «Едва ли ему что-нибудь удастся в нашем деле — у него небрежная и ленивая душа».

Как всегда, казалось бы, в непоправимо грубых ошибках молодости, она же, наша молодость, служит нам единственным, но счастливо убедительным оправданием. Видимо, и на сей раз молодость еще не умела в негромком услышать важное, в малозаметном — увидеть истину. Ильф был старше меня на шесть лет, он был уже зрелым, его душа уже была в движении...

Прошли, однако, и мои дополнительные пять-шесть лет, может быть даже меньший срок, и вот — дивное дело,— отыскивая и сочетая слова, фразы и строчки, прислушиваясь к их звукам и смыслу, к ритмам пауз, означенных запятой или точкой, я то и дело слышал среди интонаций, идущих из каких-то светлых запасов памяти, музыку речи, радостно узнавал знакомые созвучия — и я сразу же поверил им и подчинился.

Вероятно, это справедливо. Вероятно, так и должны говорить друг с другом поэты... Но не довольно ли признаний? «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

В. Финк

Я МНОГИМ ЕМУ ОБЯЗАН

Бабель рассказал мне однажды, как в Петрограде,— еще в ту пору, когда этот город назывался именно так,— он встретил у своих друзей очень молодого человека, почти мальчика, и сразу, с первого же взгляда, почувствовал в нем личность необыкновенную, чем-то отмеченную, наделенную особым, возвышенным даром. Фамилия юноши не говорила Бабелю ничего: Шостакович.

Исаак Эммануилович сказал мне, что всегда вспоминает об этой встрече с волнением: она лишний раз убедила его, что есть на свете люди, наделенные каким-то непонятным, неуловимым, но вполне реальным свойством эманации.

— Вы этого не думаете? — спросил он меня.

Я сказал, что твердо в этом уверен.

Он обрадовался.

— А вам случалось этак вот узнать, почувствовать, так сказать, раскрыть для себя человека, которого видите впервые?

— Случалось,— ответил я.

— Да? Интересно! Кого?

— Вас! — ответил я.

Он расхохотался. Между тем в моих словах не было шутки.

Впервые я встретил Бабеля в Петрограде, и, если не ошибаюсь, это было в 1917 году. Ему было двадцать три года по бумагам и лет семнадцать-восемнадцать на вид. У него были веселые и озорные глаза, острый язык.

Но не одни эти качества, довольно широко распространенные среди людей молодых, определяли Бабеля. Было у него и еще кое-что. В его веселых и озорных глазах почему-то проглядывала по временам искорка грусти, и меня это всегда озадачивало и заставляло настораживаться. И что-то совсем-совсем не веселое прорывалось в его голосе. И еще были неуловимые мелочи, для которых и названия не подберешь. Все они напоминали, что этот человек — не как все, что природа — или судьба — избрала его и отметила.

Мы встречались во встревоженных муравейниках редакций и в прославленной кофейне Иванова и Шмарова на Невском, которая была в те годы прибежищем голодных искателей славы.

Внезапно Бабель исчез, никто не знал куда. Прошло время, и немалое. И вот прибегает ко мне весьма тогда известный литератор Василевский (Не-Буква), положительно задыхаясь от волнения, вытаскивает из кармана газету и тычет мне в руки:

— Читайте! Парнишку этого помните? Бабеля? Бабеля помните? Читайте!

Это было «Жизнеописание Павличенки». Оба мы с Василевским поняли, что взошло новое светило, и поклонились ему.

* * *

Бабель часто бывал у меня на Кудринской.

Однажды он пришел после необычно долгого перерыва, рассказывал всякие истории, пил чай и просил мою жену как можно скорей позвать его на фаршированную рыбу с хреном, потому что его снедает тоска по хорошей еврейской кухне: он провел все последнее время где-то в Воронежской области, на конном заводе, а там никто понятия не имеет, что такое фаршированная рыба.

У Бабеля всюду были «корешки» по Первой Конной. Один командовал кавалерийским полком, другой был директором конзавода, третий объезжал лошадей в Средней Азии. Исаак Эммануилович часто навещал их. Он был отчаянный лошадник. В Москве он по целым дням пропадал на конюшнях ипподрома, не на самом ипподроме, а именно на конюшнях. Он был дружен с наездниками и конюхами, он знал родословную каждой лошади и водил меня на конюшни, как водят доброго знакомого в дом друзей.

Итак, он рассказывал обо всем, что видел на конном заводе, потом,— я даже не заметил, в какой связи,— разговор перешел на литературу, и тут Бабель сказал, что у каждого писателя есть своя заветная тема, о которой он мечтает всю жизнь, а добраться до нее не может.

Не знаю, кого он имел в виду. Возможно, что самого себя. Некоторые мелкие детали заставляют меня так думать. Чего-то он не написал и мучился. Это было мне известно.

Но замечание было верным и по отношению ко мне. Давно и очень сильно хотелось мне написать об Иностранном легионе, о войне. У меня всегда был перед глазами один пригорок в Шампани, где я проклял войну и обманчивость ее романтизма и поклялся самому себе написать об этом. Но у меня ничего не получалось.

Я сказал Бабелю, что делал попытки, но выходила такая чепуха, что и вспомнить не хочется.

— Как только возьмусь за эту тему, перо начинает весить пуд, невозможно водить им по бумаге,— сказал я.

На это Бабель возразил, что перо, «если только оно настоящее», всегда весит пуд и водить им по бумаге всегда трудно.

— Однако,— прибавил он,— этого не надо бояться, потому что бывает и так: помучаешься над страничкой месяц-другой и вдруг найдешь какое-то такое слово, что даже самому страшно делается, так здорово получилось! В таких случаях я удираю из дому и бегаю по улицам, как городской сумасшедший.

Бабель ушел в этот вечер очень поздно.

Признаюсь, я не испытывал к нему благодарности. Он разворотил мне душу. Мою неспособность написать задуманную книгу можно было сравнить с неразделенной, несчастливой и потому несчастной любовью. Я носил ее всегда при себе, в закрытом и никому не известном уголке души. Я навещал ее каждый день и каждый день уходил от нее взволнованный и несчастный.

Прошло некоторое время, и Бабель явился снова. Он пил чай, шутил, рассказывал всякие истории и

вдруг, точно вспомнив что-то такое, что чуть было не ускользнуло из памяти, сказал, что прожил последние две недели на даче у Горького, что Горький затевает альманах и спрашивал его, Бабеля, не знает ли он, что люди пишут сейчас и что можно было бы пустить в ближайших номерах.

— Я сказал Горькому, что вы пишете об Иностранном легионе,— выпалил Бабель.

Я пришел в ужас.

— Вы с ума сошли! — закричал я.— Зачем вы его обманули? Я ведь ни строчки показать не могу!

— Какое это имеет значение? — невозмутимо ответил Бабель.— Я сказал, что вы уже давно пишете и много написали, и старик сразу внес вас в список: «Финк об Иностранном легионе». Он даже буркнул: «Хорошо», — по три «о» в каждом «хорошо».

Я был ошеломлен. И хотите — верьте, хотите — не верьте, но вскоре началось нечто странное: расстояние между моей мечтой написать книгу и верой в то, что я могу написать ее, стало как-то само собой сокращаться. Некоторое время я ходил как одурелый, несколько ночей я не спал, но в конце концов сел за работу и работал как одержимый. Я уже не мог бы променять эту работу ни на какую другую. Это был период самого большого подъема, какой я знал в жизни,— я осуществлял свою мечту. Я берег себя, дрожал за свое здоровье: боялся, как бы случайная болезнь не помешала мне довести работу над книгой до конца. Я осторожно переходил улицу, чтобы не погибнуть под трамваем, не закончив книгу. Вероятно, то же самое испытывает женщина, готовящаяся стать матерью.

Конечно, дело было прежде всего в самом материале книги, в том месте, какое описываемые события

занимали в моей собственной жизни. Все это так. Однако все сии важные обстоятельства неподвижно пролежали у меня на дне души почти двадцать лет. Они пришли в движение только тогда, когда я почувствовал интерес Бабеля и Горького, их доверие ко мне, их веру в мои возможности.

Вот так я и написал «Легион».

Читатель видит, сколь многим я обязан Бабелю.

Но если во всем этом разобраться поближе, можно понять и еще кое-что. Вызвать у Горького интерес к моей необычной и даже довольно-таки экзотической теме было, конечно, не трудно. Однако это было полдела. Приди ко мне Бабель с предложением показать Горькому забракованные мною листки рукописи, я бы ни за что не согласился, и дело на этом и кончилось бы.

Если бы Бабель посоветовал мне сделать еще одну попытку и даже обещал бы помощь и содействие, я бы тоже не согласился.

Чтобы заставить меня взяться за работу, надо было меня растормошить, заставить меня преодолеть стыд, которой я испытывал перед своей темой после стольких неудач. Мог же Бабель, приехав с поручением от Горького, начать в торжественном и поздравительном тоне. Но и это было бы неосторожно. Вот он и потратил всю свою обычную шутливость на то, чтобы рассказать мне, какие трудные роды были у кобылицы Рогнеды на воронежском конзаводе. И только когда мозги мои достаточно, по его мнению, набухли от массы сделанных им сообщений, он изобразил страшную рассеянность, из-за которой чуть было не забыл, что Горький включил мою еще не родившуюся книгу в план альманаха.

Он рассказал мне это равнодушным голосом, как

нечто обыденное, будничное и не идущее ни в какое сравнение с сообщением о трудных родах Рогнеды.

Я не сразу понял, что тут был некоторый с его стороны психологический ход. Но когда понял, то еще более высоко оценил его как умницу и друга.

Пока я писал первые листы, я ему ничего не показывал и ни разу не спросил совета: я боялся, что, познакомившись с моей рукописью, он посоветует мне бросить работу.

Но когда первые листы были готовы, я отвез их Бабелю, а он обещал передать Горькому. Разумеется, предварительно он их прочитал. И вот через несколько дней он позвонил мне по телефону и сказал, что Старик доволен и велел продолжать.

На радостях Бабель пригласил меня на ипподром, точней говоря — на конюшни, где обещал представить меня одной неслыханной красавице — серой в яблоках кобылице.

М. Макотинский

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Осенью 1928 года в Киеве, в сценарном отделе ВУФКУ (Всеукраинского фото- киноуправления), где я работал редактором, поэт Микола Бажан познакомил меня с Бабелем, недавно возвратившимся из-за границы. Я тогда уже знал все напечатанные сочинения Исаака Эммануиловича и был большим его поклонником.

В Киеве в ту пору было трудно найти комнату для жилья, и я предложил Бабелю поселиться у меня. Он согласился, но смущенно признался: «Я, знаете ли, плохо сплю. Если в квартире есть клопы или кто-нибудь по соседству храпит, мне заснуть не удастся». К счастью, у нас никто не храпел, клопов не было, и мои условия ему подошли.

В отведенной ему комнате, где, правда, не было

письменного стола, Исаака Эммануиловича никто никогда не видел пишущим. Обычно он шагал из угла в угол, на ходу сплетая и расплетая, завязывая и развязывая кусок бечевки и, судя по всему, сосредоточенно думая. Иногда он останавливался у подоконника, на котором лежала рукопись, вписывал в нее фразу или слово и снова начинал «вышагивать» и «вывязывать». Прожил он тогда у меня в Киеве несколько месяцев.

Следующая наша встреча произошла уже зимой 1930 года. Получив от Киевской кинофабрики аванс по договору на сценарий «Пышка», Бабель внезапно увлекся событиями сплошной коллективизации и, даже не помышляя об экранизации мопассановского рассказа, отправился в большое село на Киевщине. Прошло около месяца. И вдруг однажды около двух часов ночи в моей квартире раздался звонок. Открыв дверь, я увидел в полутьме силуэт заснеженного, окоченевшего человека в треухе, с большим портфелем под мышкой и с примусом в руках. Это был Бабель. Он простудился, и это заставило его вернуться в Киев.

Однако улечься в постель он явно не торопился, так как был чем-то чрезвычайно возбужден. Отогреваясь горячим чаем и нервно шагая по комнате, он восклицал: «Вы себе представить не можете! Это непередаваемо — то, что я наблюдал на селе! И не в одном селе! Это и описать невозможно! Я ни-че-го не по-ни-маю!»

Оказывается, Бабель столкнулся с перегибами в коллективизации, которые позже получили наименование «головокружения от успехов». Причем в дальнейшем оказалось, что понять и описать он все-таки кое-что сумел.

В 1931 году я переехал из Киева в Москву и снова встретился с Бабелем. Он ютился у друзей,— собственного жилья у него и теперь не было. И только несколько месяцев спустя однажды он привел меня в совершенно пустую комнату площадью в семь квадратных метров на втором этаже ветхого дома и радостно заявил:

— Вот. Наконец-то и я получил!

И вскоре за тем исчез, как в воду канул, да так, что никто из наших общих знакомых не знал, куда он девался. А весной 1932 года, как всегда неожиданно, пришел ко мне, очень расстроенный, и срывающимся от волнения голосом произнес:

— У меня несчастье. Я потерял большую рукопись. Хватился сегодня утром и нигде не могу найти. Единственная надежда на то, что я ее не взял с собой, а оставил дома. Но один я домой ехать боюсь: вдруг и там ее нет... Едемте со мной. Без вас я не поеду.

Когда мы вышли, оказалось, что у подъезда нас ждет машина. Я недоуменно осведомился: зачем, мол, машина, когда можно поехать трамваем?

Но оказалось, что живет теперь Бабель не в Москве, а в сорока километрах от города, в деревне Звенигородского района, у крестьянина, в бывшем коровьем хлеву с земляным полом, превращенном в комнату.

— Не могу я работать в Москве,— сказал Исаак Эммануилович.— Тянет в глушь, там лучше пишется. Когда мне нужно в город, я еду поездом, а из Москвы меня часто возят на машине. Кто? Друзья. Вот и теперь мне предложил свою машину...— и Бабель назвал фамилию директора крупнейшего строительного института.

Нужно сказать, что Бабель был поистине счастлив

в друзьях. Я убедился в этом еще раз во время описываемой поездки в деревню.

Очевидно побуждаемый желанием отвлечься от мучившей его мысли об исчезнувшей рукописи, Исаак Эммануилович всю дорогу рассказывал, описывая, а лучше сказать — живописуя крестьян той деревни, где жил.

— Однажды,— рассказывал он,— вернулся я из Москвы чем-то расстроенный. Почти всю ночь не спал. Наутро заявляется ко мне хозяин: «Можно тебе, Мануйлыч, пару слов сказать?» — «Можно»,— отвечаю. «Вот что, Мануйлыч, хочу тебе сказать. Мы с женой слышали, как ты усю ночь не спамши ходил. Мы и так и этак думали да прикидывали: об чем это Мануйлыч беспокоится? Ну, и порешили, значит, что ты из города пустой приехал. Денег за сочинение не дали или сочинение не берут. Вот мы и порешили: дело, мол, к зиме идет, что нам корову всю зиму держать? Корову продадим, сдадим до весны деньги Мануйлычу, а он нам по весне вернет. Вот такое дело. А ты не сумлевайся, бери! Мы тебе с дорогой душой, безо всякой расписки сколько хошь дали бы, коли было бы. Так мы промеж себя порешили».

Конечно, Исаак Эммануилович деньги не взял, да и не в них было дело.

Друзей у него в деревне оказалось множество. Не было там ни ребятенка, ни глубокого старика, который не знал бы «Мануйлыча». То и дело встречавшиеся на улице люди с явным уважением здоровались с ним.

К счастью, рукопись лежала на столе. Бабель приготовил ее и позабыл взять.

Под вечер он предложил мне пройтись по деревне

и познакомиться с его друзьями. И какими все они оказались любопытнейшими людьми! У Бабеля был инстинкт подлинного художника — способность учуять даже в случайно встреченном человеке нечто самобытное, яркое. И вдруг оказывалось, что дед Пантелей был извозчиком в Хамовниках, возле дома Льва Толстого, и не раз говаривал с графом, что столесятилетний бывший жокей и наездник, будучи крепостным, ездил со своим барином в Париж и у этого барина собирались Тургенев, Гюго, Флобер и Золя, да мало ли что оказывалось еще...

Люди удивительно доверчиво раскрывались перед ним. Может быть, потому, что не было человека, который умел бы так слушать собеседника, как Бабель. Помню, однажды мы разговорились с ним по поводу событий начала тридцатых годов, я увлекся, и когда перевел дух, Бабель, ни разу не прерывавший меня, посмотрел на часы и заметил:

— А вы знаете, сколько времени длилась ваша речь? Два часа.

Ну можно ли было не раскрыть такому собеседнику всю свою душу?!

Т. Иванова

О ТОМ, ГДЕ И КАК БЫЛИ СОЗДАНЫ ПЬЕСА «ЗАКАТ» И СЦЕНАРИЙ «БЕНЯ КРИК»

(По письмам И. Э. Бабеля)

Цель творчества — самоотдача.

Борис Пастернак

У Исаака Эммануиловича Бабеля судьба сложилась необычно.

Этот талантливейший человек написал сравнительно не много, но даже и то немногое, что им создано, не целиком сохранилось.

Именно это и побуждает меня поделиться тем малым из эпистолярного наследия Бабеля, чем я располагаю.

В течение нескольких лет я была близко знакома, вернее сказать — дружна с Исааком Эммануиловичем.

Наша дружба возникла в 1925 году, развивалась

весьма интенсивно и в 1928 году столь же внезапно, как и возникла, оборвалась из-за обстоятельств личной биографии каждого из нас.

Делясь выдержками из писем ко мне Бабеля, я сочла не бесполезным прибавить к ним кое-что и от себя.

Исаак Эммануилович считал литературу не только делом, но и обязанностью, непреложным долгом своей жизни.

Писал он трудно, я бы даже сказала — страдальчески. Был совершенно беспощаден к самому себе. Его никак не могло удовлетворить что-либо «приблизительное». Он упорно искал каждое нужное ему слово. Именно оно, это слово, наконец-то выстраданное, наконец-то найденное, а не какое-то другое слово, должно было занять свое место в ряду других.

Ритм, размер, смысл. Все эти компоненты были неразрывно для него связаны.

Тем, кто понимает литературу всего-навсего как изложение ряда мыслей, описание определенных событий, людских судеб и характеров, мучительные поиски Бабеля не могут быть понятными.

Для него литература — это не только содержание, но и форма, требующая стопроцентной точности отливки.

Его проза близка поэзии, по существу, и является поэзией в самом прямом выражении этого понятия.

Трудность поисков формы при создании произведений влекла за собой постоянный вопрос — где, в какой среде и обстановке, лучше всего работать?

Исаак Эммануилович считал, что ему лучше всего писать, живя в среде, близкой к описываемой. А необходимую разрядку находить тоже в обществе лю-

дей, похожих на описываемых. Также считал он прекрасной для себя разрядкой возможность изучать животных, предпочтительно излюбленных им лошадей. Мечтал он и о том, чтобы поехать в один из заповедников — изучать там диких животных. Но это намерение почему-то все не осуществлялось. А «лошадиной проблеме» (по его определению) было уделено в его жизни очень большое внимание.

Ему не сиделось на месте, но в своих разъездах он постоянно стремился выбрать необходимую ему для творчества обстановку.

Привожу отрывки из писем ко мне, об этом свидетельствующие:

Из Киева в Москву. 23. IV. 25 г.

«...уехал на пароходике вниз по Днепру верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предсельсовета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь с еще одним военным человеком (Охотников, друг Мити Шмидта и мой) мы с утра наняли моторную лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне: я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про вас, сунуть контрабандой рассказ о давнишних моих знакомых, но, к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от вас, милый друг мой. События, заслуживающие внимания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку, селькора здешней украинской газеты [...] Потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем

Шишковским. Он авиатор и командует здесь, в Киеве, эскадрильей истребителей. Сейчас солнце, три часа дня, я напишу Вам, душа моя, письмо и поеду за город к Ш. и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил Вам, что бываю очень счастлив во время полета...»

Из Киева в Москву. 24. IV. 25 г.

«...Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п[отому] ч[то] в школе авиационной происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы и пробуду там дня два. Это получше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий...»

Из Киева в Москву. 25. IV. 25 г.

«...Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер, мелкий злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих, пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраине Киева, есть такая Татарка, это у черта на куличках, там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близким, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди...»

Что привлекало к себе в ту пору писательское внимание Бабеля? Все то, что превышает норму. Все то, что принято называть гиперболичным. Жизнь у ее истоков, не укрощенная, не прикрашенная. Первобытность необузданных чувств, первозданность страстей.

* * *

За тот период жизни Исаака Эммануиловича, который или проходил у меня на глазах, или нашел отражение в письмах ко мне, он создал сценарии «Беня Крик» и «Блуждающие звезды» (по мотивам романа Шолом-Алейхема), а также пьесу «Закат».

Хотя в основу сценария «Беня Крик» и легли одесские рассказы, сценарий этот является вполне оригинальным литературным произведением, в котором писатель переосмыслил как ситуации, так и характеры выведенных им персонажей.

Сценарии — новая для Бабеля работа — освоение кинематографического мышления, кинематографического языка. Вот что он писал мне тогда:

Из Киева в Москву. 27. IV. 25 г.

«...Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но, на беду мою или на счастье, разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнулся, чернел, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам [...] Завтра занятия в госуд[арственных] учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное евр[ейское] местечко верстах в полутораста от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты и водопады, а в десяти верстах от Богуслава деревня Медвии, достойная изучения. Я думаю так: по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение — я полечу на аэроплане. Боги м[ожет] б[ыть] воз-

зрят на мои тяготы и числа 7—8 мая я смогу вернуться в Москву...»

Из Киева в Москву. 30. IV. 25 г.

«...Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады потому, что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель Богуславского райисполкома, один из мириад моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, изготовился везти в Богуслав вместе со мной горячительные напитки в необъяснимом количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария — и... и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где и сижу сейчас над кипой скучных бумаг».

Дальнейшие письма, отражающие работу над сценарием «Беня Крик», шли уже не из Киева в Москву, а из Сергиева посада (Загорска) в Сочи (где я проводила лето).

Из Сергиева в Сочи. 14. VI. 25 г.

«...В пятницу, т. е. на следующий после вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую... Я не знаю — его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные! Одно из этих стихотворений я

переписал и посылаю вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок; может быть, прощальная эта Сережина песня ударит вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее. «Ах любовь — калинушка...» Ныне весь день работал с остервенением, теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, потому что нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно [...] На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятия по моему адресу...

Из Сергиева в Сочи. 16. VI. 25 г.

«...Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво [...] Мы с Воронским живем дружно! Он все пишет про литературу [...] Еще новости: Иван Иванович был вчера именинник. Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сменил полукафтанье на рясу и ходит во всамделишной рясе, с клюкою; коз согнали с Козьей горки (вы на этой горке были), бабы устроили бунт вчера, и к ним приходил представитель исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой...»

Из Сергиева в Сочи. 20. VI. 25 г.

«...Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб [...] И только Воронский доволен. Через проклятую эту погоду я простудился, чувствую себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра в субботу из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от вас письма и читать сценарий Эйзенштейну. Если я написал чепуху — вот будет оказия!..»

Из Сергиева в Сочи. 25. VI. 25 г.

«...У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве в большой суете. Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управлюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы [...]

Я получил чудное душевное письмо от Горького. Надо ответить на него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния...»

Из Сергиева в Сочи. 29. VI. 25 г.

«... И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится [...] Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея; у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудерьки и на цыплячью грудку насыпано столько мела или пудры, что с этой барышней в самую

бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда...»

Из Сергиева в Сочи. 3. VII. 25 г.

«... К стыду моему, я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше [...] я веду жизнь духовную (от чего вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух мертвых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я ехал на Ярославский вокзал в самом ординарнейшем из ординарных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость? [...] И если это началась старость, то вот Вам происшествие...»

Из Сергиева в Сочи. 10. VII. 25 г.

«...Пишу на почте п [отому] ч [то] теперь 6 часов, а в $6^1/_2$ ч. почта закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг толчея, толкают под руку, и я не могу сказать то, что хочу. Вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну; он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, но, во всяком случае, все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого, на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интереса работа — можете себе представить — фильма о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре вылететь в Ростов, оттуда проеду в Сочи [...] Два дня, проведенные в Москве,

растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают,— а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергиеве привык к легкому воздуху и здесь увядаю...»

Из Сергиева в Сочи. 12. VII. 25 г.

«...Только что (теперь третий час утра) дописал проклятущий мой сценарий. Представьте — первые четыре части я обдумал и написал за семь дней, окрыленный этим успехом, я думал, что с последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, и я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал [...], мысли путаются, надо поспать маленько... Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всяческие другие комитеты возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно — куда я выезжаю, в Одессу или в Сочи. Если в Сочи прямо — то до Ростова буду лететь на аэроплане...»

Из Сергиева в Сочи. 16. VII. 25 г.

«...Мне *обязательно* нужно отправиться в Воронежскую губернию, на Хреновской конный завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве [...] В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернии Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натурных кадров 1905 года...»

* * *

Эйзенштейн должен был ставить фильм «Беня Крик» по сценарию Бабеля на первой фабрике Совкино, но на фабрике произошли всяческие осложнения, и Исаак Эммануилович решил отдать свой сценарий Одесской киностудии ВУФКУ. Впоследствии туда же передал он и другой свой сценарий — «Блуждающие звезды».

Из Москвы в Ленинград. 27. III. 26 г.

«...Сегодня приступил к делам. С 11 ч. до 11 ч. вечера был на кинофабрике, исправлял ужасный монтаж картины К. (вот почему он слал телеграммы) и говорил о делах. Фонды мои неведомо по каким причинам на фабрике очень поднялись, они требуют, чтобы оба сценария ставились у них, режиссерские и проч. возможности у них богаче, чем у Вуфку, но денег нет. Завтра, в воскресенье, у меня будет решительный разговор с К. ...»

Из Москвы в Ленинград. 15.IV.26 г.

«...Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся...»

Из Москвы в Ленинград. 7. V. 26 г.

«...С Вуфку о «Блужд[ающих] звездах» продолжаются интенсивные телеграфные «переговоры». В ре-

жиссеры они прочат Грановского — другого у них нет — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину [...]

...Только что в 7 ч. утра получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет идиотические требования, и передать ее Гричеру, б. помощнику Грановского, человеку, мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематогр[афическом] отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад...»

Из Одессы в Ленинград. 28. V. 26 г.

«...Веду переговоры с Вуфку о постановке «Бл[уждающих] зв[езд]» на одесской кинофабрике [...] В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но море прекрасно по-прежнему и акация цветет опьяняюще чудовищно. Чувствую себя хорошо [...] У меня здесь работы куча — и моей (душевной) и кинематографической, но писать буду — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь [...]

...Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем... Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом...»

Из Одессы в Ленинград. 5.VI.26 г.

«...Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву [...]

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день...»

Из Одессы в Ленинград. 12.VI.26 г.

«...Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харькове, в Правление. Если он успеет закончить смету сегодня — то выедем в 5 ч. 30 м., если нет — завтра. Задержка эта мне ни к чему и даже вредна [...] В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли...»

Из Харькова вДетское Село. 15.VI.26 г.

«...Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь делать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого сломает — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание...»

Из Москвы в Детское Село. 24.VI.26 г.

«...В конце будущей недели... мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая потому, что я боюсь, что

мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Никол[аевну] [1]. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал...»

Из Москвы в Детское Село. 7.VII.26 г.

«...Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщала, что до воскресенья будет на даче, я собрался к ней в воскресенье, но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

...Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участвовать в монтаже на I Госкино-фабрике несчастной и неумелой картины К. «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательство это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т.к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Ш[олом] Алейхема, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку [...] Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно не-

[1] Писательница Сейфуллина.

обходимо для моего душевного равновесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда — состоится ли моя вторичная поездка в Одессу, и, вообще, разберусь в дальнейших перспективах...»

* * *

Тут мне приходится сделать отступление и предуведомить читателя, что, взяв на себя смелость выбора кусков из писем ко мне Исаака Эммануиловича для их опубликования, я допускаю и еще одну вольность — нарушаю хронологию.

Я привожу отобранные мною выдержки из писем не в последовательности их написания, а располагая по затронутым в них темам.

Ведь я задалась целью не литературоведческого анализа, а пытаюсь на основании его писем ко мне и своих наблюдений набросать штрихи к портрету Бабеля-писателя [1].

---

[1] К тому же материалы, которыми я располагаю, переданы мною литературоведу Елене Александровне Краснощековой, написавшей на их основании литературоведческую статью (опубликована в журнале «Север», 1969, № 9). В ее публикации адресат (по моему желанию) скрыт под инициалами «Т. К.». Здесь я раскрываю обозначения этих инициалов. Все цитируемые письма адресованы Т. Кашириной, под каковой фамилией я родилась, училась, работала, выступала на сцене и вообще жила до 29-го года, когда приняла в замужестве фамилию Иванова.

* * *

Закончив работу над двумя сценариями, Исаак Эммануилович занялся литературной обработкой одного из них, а именно «Бени Крика».

Из Москвы в Ленинград. 9. IV. 26 г.

«...Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны...»

Из Москвы в Ленинград. 12.IV.26 г.

«...Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-послезавтра, после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград...»

Киноповесть «Беня Крик» была напечатана в журнале «Красная новь» (1926, № 6). В том же году она вышла отдельным изданием.

И в том же году Исаак Эммануилович приступает к созданию пьесы «Закат». О начале этой новой работы он в шутку написал мне как о «коммерческом деле».

Из Ворзеля в Детское Село. 19.VIII.26 г.

«...Живу в совхозе в 40 верстах от Киева недалеко от станции Ворзель Ю[го] — З[ападной] ж. д. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи благодаря уборке урожая много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится [...]

Особенных новостей не жди от меня, давай, господи,

чтобы их у меня не было, чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом... которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро...»

Из Ворзеля в Детское Село. 26. VIII. 26 г.

«...В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя никому не говорить о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные дела, думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поеду по Днепру, пошатаюсь по селам дня три, вернусь — буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — находятся ли еще лошади на летнем положении, жду от него ответа, м. б., съезжу на некоторое время в Хреновое. Пора мне приниматься за дела...»

Из Хреновой в Детское Село. 5. IX. 26 г.

«...Вчера после мучительного путешествия (двое суток) приехал в Хреновую. Остановился на прежней квартире. Погода превосходная. Условия для работы хорошие. Постараюсь здесь наверстать часть упущенного времени. Буду здесь сидеть так долго, как только смогу, м. б. месяц. Потом снова начнется суета и га-

дость — поездка в Москву. Единственное, что сможет меня вознаградить за Москву, это Детское. Увидимся мы в октябре. Здесь все на прежнем месте — и люди и лошади...»

Из Хреновой в Детское Село. 8. IX. 26 г.

«...Новостей, как известно, в Хреновом не бывает. Я работаю до обеда, потом ухожу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи. Хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходны, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не в лучшей форме[...]

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложилось дурное отношение к моим «произведениям». Раньше они мне нравились по крайней мере во время написания, а теперь и этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится...»

Из Хреновой в Детское Село. 15. IV. 26 г.

«...Живу по-прежнему — полдня «размышляю» о вещах нелепых и надоевших мне, полдня сижу в конюшне. Погода держится хорошая. Был два раза на охоте с Вик[тором] Андр[еевичем]. Он охотится, а я смотрю [...] Только человек я больно некудышний — не нравлюсь себе. Все-таки я считаю, что принадлежу к породе людей, могущих притянуть себя к более совершенной организации. Попробуем...»

Из Хреновой в Детское Село. 17. IX. 26 г.

«...Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру

сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону.

...Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал...»

Из Хреновой в Детское Село. 20. IX. 26 г.

«...Погода здесь испортилась, дождь, очень это не ко времени — потому что я доработался до полного истощения мозгов, мне бы надо на несколько дней забросить всякую «письменность», а как ее забросишь, когда приходится сидеть дома? Подожду еще дня два-три, потом возьмусь за переписку пьесы, потом поеду в Москву[...]

Завтра в Хреновом выставка крестьянских лошадей и крестьянские бега. Обязательно пойду посмотреть, как бы только погода не помешала[...] Я сегодня, запершись в своей комнате, долго читал Жития Святых, книжку Толбинских, но в этой книге днем с огнем не сыщешь ничего веселого[...]

Сейчас иду обедать, а потом к Викт[ору] Андр[еевичу]; он, кажется, собирается сегодня на охоту. Поеду и я...»

Из Хреновой в Детское Село. 22.IX.26 г.

«...Дождь здесь зарядил, идет очень ядовито, мелкий, беспрерывный. Сегодня были крестьянские бега — очень интересно.

В Москву предполагаю выехать не позднее 1 октября. Надо приступить к переписке моей чудаковатой «пьесы», а не хочется. Надо бы ей отлежаться месяца два, чтобы я о ней забыл...»

Из Хреновой в Детское Село. 29.IX.26 г.

«...Первого я отсюда не поеду, есть еще работы на несколько дней. Здесь очень холодно, дурная погода. Теплых вещей нету, одеяла нету,— но очень уж тихо, пострадаю еще несколько дней...»

Из Хреновой в Детское Село. 4.X.26 г.

«...Пишу все еще из Хреновой. Никак не удается исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватит. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильму в Харьков, в Правление. Не знаю — обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков...»

Из Москвы в Детское Село. 11. X. 26 г.

«...Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки четвертым классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянутся — чего я не предполагаю,— то я улучу не в счет абонемента один-два дня для того, чтобы вырваться к вам...»

Из Москвы в Детское Село. 13. X. 26 г.

«...Вчера читал пьесу Маркову[1]. По его мнению, она представляет интерес, но необыкновенно трудна для

[1] Театровед Павел Александрович Марков.

постановки и, уж конечно, никак не актуальна. Хлопот мне предстоит много...

Из Москвы в Детское Село. 18. X. 26 г.

«...Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее,— то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счесть это я могу черт меня знает когда...»

Из Киева в Москву. 5.I.27 г.

«...«Блуждающие звезды» еще не видел,— говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К Бене Крику (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни — настроение скверное...»

* * *

Сценарии, вернее — поставленные по ним фильмы, все еще тревожили Исаака Эммануиловича, отнимали у него время, но «Закат» уже заполнил собой все его мысли. Продолжая работать над пьесой, Бабель захотел проверить ее звучание на широкой аудитории.

Из Киева в Москву. 17. III. 27 г.

«...Я затеял несколько публичных вечеров — здесь, в Одессе, м. б. в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отделал. Вышло хуже, чем раньше — очень вымучено...»

Из Киева в Москву. 26. III. 27 г.

«...Вчера читал пьесу. Вечер прошел «с материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензии, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я что-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет,— когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим...»

Из Киева в Москву. 30. III. 27 г.

«...Сейчас еду в Одессу. Вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля. 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался). 5-го возвращаюсь в Киев...»

* * *

Для творческой работы Исааку Эммануиловичу совершенно необходима была «питательная» среда.

Но даже и тогда, когда обстоятельства заставляли его жить в столице, он неизменно искал какую-то особую обстановку, в которой ему легче работалось бы.

Он способен был вдруг испытать влечение к чужой квартире, чем-то отличающейся от привычного или же внезапно увиденной им под особым углом зрения.

Я несколько раз присутствовала при возникновении внезапных «влечений», но никогда не могла толком разобраться — что, собственно, его тут привлекло.

К тому же и влекло его каждый раз нечто совершенно не похожее на предыдущее: то просторность, чистота, чинность, тишина, а то предельная загромождённость — шагу ступить негде...

Но и там и тут он неожиданно говорил: «Вот здесь я бы наверное смог писать».

Человек он был обаятельный, поэтому хозяева облюбованного помещения дружно кричали: «Сделайте милость, приходите к нам работать!» А то так: «Поселитесь у нас!»

Иногда он даже и соглашался на такое предложение, но на моей памяти никогда из подобных проб проку не получалось, писать все равно было ему трудно.

* * *

Когда сложные переплетения жизни закинули Бабеля за границу, ему стало там совсем плохо, совсем невмоготу работать.

Из Парижа в Москву. 11. XI. 27 г.

«...Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным [...]

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унизительное. Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь. Если пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике можно взять еще аванс.

Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне

перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генер[альной] репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой — снимется ли она после нескольких представлений или продержится, прошу[...] пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борись. Но получить деньги — это полдела, очень трудно отослать их за границу[...]

Напиши мне еще[...] о пьесах Всеволода[1] и Леонова, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира[...]

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды...»

Из Парижа в Москву. 16. XII. 27 г.

«...Получил вчера 250 долларов. Деньги это — кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же по-

---

[1] Писатель Всеволод Иванов.

живу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои[...] таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы кое-что подготовить для печатания. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю, да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши — тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи — так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно...»

Из Парижа в Москву. 26. XII. 27 г.

«...Что же делать — я совсем не писатель, как ни тружусь, не могу сделать из себя профессионала[...]

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее...»

Относительное облегчение наступило для Бабеля только тогда, когда ему пришла мысль использовать пребывание в Париже для работы, связанной с Парижем, и он начал собирать материалы о французском рабочем движении.

Из Парижа в Москву. 16. XII. 27 г.

«...В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему — я придумал себе побочную литера-

турную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика. Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть...»

Из Парижа в Москву. 5.V.28 г.

«...Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху сто̀ящую книгу не напишешь, по крайней мере я-то не напишу...»

Из Парижа в Москву. 7. VII. 28 г.

«...Нездоровье, не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему,— мне приходится трудно [...]

P. S. Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать и обещает, что устроит у себя, что у него тихо, можно работать,— и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать — но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду — напишу тебе и сообщу адрес...»

* * *

Одноплановость приводимых мною выдержек из писем Исаака Эммануиловича может вызвать у непосвященного человека представление о нем как о «вечном страдальце», и это будет совершенно ошибочно.

Бабель постоянно испытывал «муки творчества», но человек он был общительный, веселый, блистательно

остроумный. Пессимистом его никак нельзя посчитать,— при малейшем проблеске благополучия он оживлялся и приступал к шаткому нагромождению «воздушных замков».

Человек широкий во всех отношениях, он постоянно испытывал потребность помочь всему своему окружению.

Так, находясь в Париже буквально в нужде и едва получив деньги, отправленные ему туда, он тут же пишет мне.

Из Парижа в Москву. 30. XI. 27 г.

«...Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо[...] Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры[...] Хорошо бы, если бы и ей можно было отправлять ежемесячно...»

Возможно, что Исаак Эммануилович так стремился во имя работы зарыться в глушь отчасти и потому, что никак не мог совладать со своей неуемной общительностью.

Письма его тоже дают основание для такого предположения.

Из Киева в Москву. 23. IV. 25 г.

«...Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня...»

Из Сергиева в Сочи. 29. VI. 25 г.

«...В четверг приехала гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские, Зозули и проч. Я измаялся. Пропащие четыре дня, даже вам не мог написать...»

* * *

Познакомилась я с Исааком Эммануиловичем на квартире у Василия Александровича Регинина, который был моим сослуживцем по режиссерской работе в клубных кружках войск Красной Армии.

Я работала тогда в Театре имени Мейерхольда и вела несколько красноармейских и рабочих драматических кружков.

После одного из вечерних занятий кружка в войсках, расквартированных в Кремле, Василий Александрович уговорил меня пойти к нему: «Познакомитесь с моей женой и обязательно еще с кем-нибудь интересным, ко мне каждый вечер заходят «на огонек».

Так оно и оказалось — «на огонек» зашел в тот вечер Исаак Эммануилович.

Я уже читала его рассказы в «Лефе» и восторгалась тем, как они написаны, но знакома с их автором еще не была.

Исаак Эммануилович, остроумнейший собеседник, неподражаемый рассказчик, проявил себя во всем блеске. Засиделись мы у Регининых допоздна.

Он пошел меня провожать и, будучи человеком крайне неожиданным, весьма удивил меня своим обращением и разговором.

Всю дорогу (от Красных ворот, где жили Регинины, и до Горохового поля на Разгуляе, где жила я) Бабель уверял меня в своей «старости» (причем так убедительно, что я поверила и, придя домой, так и сказала: «Провожал меня один старик») и говорил о тревожных внутренних звонках, настоятельно торопящих его жить интенсивнее.

Когда сидели у Регининых, я позвала и их и Бабе-

ля на следующий вечер посмотреть спектакль «Земля дыбом», в котором я играла.

Они пришли в театр все вместе и по окончании спектакля пригласили меня ужинать в «Литературный кружок».

За ужином Исаак Эммануилович восхищался Зайчиковым, игравшим бессловесную роль «его величества», а меня поддразнивал,— где же, мол, вам соревноваться вашей героикой с актером, которого режиссер посадил при всем честном народе на ночной горшок.

После ужина Бабель провожал меня, но на этот раз мы ехали на извозчике. От Пименовского переулка, где находился кружок, до меня конец не близкий.

Пока мы тряслись на извозчике, Исаак Эммануилович твердил мне уже не о своей «старости», а о лошадях и о том, что лошадиная-де проблема составляет смысл его жизни.

Если бы он не перемежал «лошадиный» разговор восклицаниями, как, мол, жаль, что вам этого не понять, я бы, вероятно, и слушать его не стала. К чему мне были лошади?

Но при моем молодом самомнении (мне было тогда двадцать пять лет) и избалованности допустить, что я чего-то могу «не понять», я никак была не согласна и слушала поэтому о лошадях с полным вниманием.

Впрочем, он был таким неотразимым рассказчиком, что все, о чем бы ни говорил, получалось у него и увлекательно и неповторимо интересно.

Вскоре мы встретились в Ленинграде, и Исаак Эммануилович попросил меня никому не говорить, что он там. Пригласил зайти к нему в гостиницу, еще раз заверив, что он в Ленинграде «инкогнито».

Когда же я к нему зашла, то обнаружила в его но-

мере «дым коромыслом». Он уже созвал к себе половину Ленинграда.

Такая непоследовательность вообще очень была характерна в те годы для бытового поведения Бабеля.

Другое дело — творчество. В творчестве он был необыкновенно последователен, взыскателен и ни в коем случае не желал ни смириться, ни «укоротить» себя.

Он не только с мучительной страстью вынашивал свои произведения, но с такой же пристальной внимательностью прослеживал и их прохождение в жизнь, начиная с корректур и репетиций.

* * *

Чувство ответственности перед читателем, беспокойство о нерушимости своего творческого замысла никогда не покидали Бабеля.

Это опять можно проследить по письмам.

Из Киева в Москву. 22.IV.25 г.

«...Окажите мне услугу: позвоните в редакцию «Красной нови» (т. 5-63-12), попросите к телефону Евгению Владимировну Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры [1], которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию...»

Из Киева в Москву. 27. IV. 25 г.

«...От «Красной нови» ни слуху, ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите от моего имени,

[1] Рассказ «История моей голубятни».

что я протестую против напечатания рассказа с невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович[1] обещал дать мне возможность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение...»

Из Киева в Москву. 30.IV.25 г.

«...От «Красной нови» ни ответа, ни привета. Придется послать им выправленную рукопись...»

Из Киева в Москву 10. IV. 27 г.

«...Корректуру «Короля» пришли. Делов там немного, но просмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 24-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее...»

Из Киева в Москву. 13. IV. 27 г.

«...Корректуру получил. В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «Третье издание». Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение...»

* * *

Особое беспокойство, еще обостренное тем, что он находился за границей и не мог сам проследить за перипетиями претворения ее в спектакле, вызывала у Бабеля пьеса «Закат».

---

[1] Воронский.

Из Парижа в Москву. 3. IX. 27 г.

«...Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне, да охоты не хватает. Может быть, сделаю. Все переделки пришлю».

Из Парижа в Москву. 4. X. 27 г.

«...Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходит в театре[...] Плохой театр [1], тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым, попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню...»

Из Парижа в Москву. 17. X. 27 г.

«...Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге?

Перебиваюсь с трудом[...] А тут еще дней десять т[ому] н[азад] я захворал. Простудился, и начался тяжкий мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг лечиться. Раз навсегда мне надо привести себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мою мечту — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва — пропадешь и ни копейки не достанешь...»

Из Парижа в Москву. 30. XI. 27 г.

«...Рецензию получил. Спасибо... Идет ли пьеса еще где-нибудь? Если у тебя накопились еще материалы,

---

[1] МХАТ 2-й.

сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александринке? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно...»

Из Парижа в Москву. 22. XII. 27 г.

«...Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе?..»

Из Парижа в Москву. 10. I. 28 г.

«...Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет, что никаких денег[...] я оттуда не увижу[...] Не худо бы тебе побывать на репетициях, если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле Берсеневу или Чехову...»

Из Парижа в Москву. 11. III. 28 г.

«...Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь? Никогда я с большим отвращением не относился к этой пьесе, к разнесчастному и надоевшему детищу, чем теперь...»

* * *

Об искусстве и о лучших для себя условиях, чтобы мочь им заниматься в полную силу, Исаак Эммануилович думал постоянно.

В одном из первых своих писем ко мне он писал:

23. IV. 25 г.

«...Последние дни я много думаю о вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профес-

сии. Жизнь моя пошла бы лучше и позже, через два года, я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям...»

Из Парижа в Москву. 5.IX.27 г.

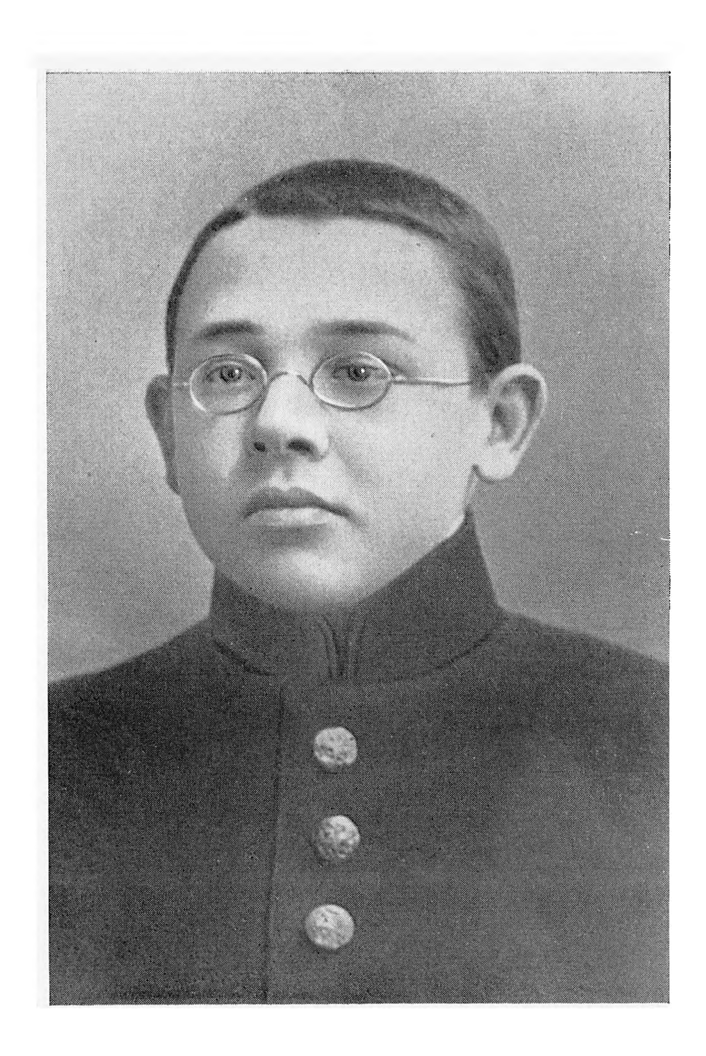
«...Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м. б., через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства...— это одно из немногих утешений, оставшихся мне. В материальном смысле от этих утешений, конечно, не легче...»

Из Парижа в Москву. 22. VII. 28 г.

«...Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом волочу «бремя дней». Ты сама можешь судить — как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так — когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями выполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это переменю. Завтра еду в Брюссель — повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни...»

Из Парижа в Москву. 10. IX. 28 г.

«...В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду — не знаю. Оседлости устраивать пока не собираюсь, буду кочевать где при-



И. Э. Бабель — студент Киевского коммерческого института. 1913 г.



И. Э. Бабель. 1920 г.



И. Э. Бабель под Ростовом. 1929 г.



И. Э. Бабель. Карикатура Бор. Ефимова.



И. Э. Бабель и И. Лившиц. 1932 г.





И. Э. Бабель, Н. А. Пешкова, И. Н. Ракицкий.
В Горках у А. М. Горького. 1932 г.

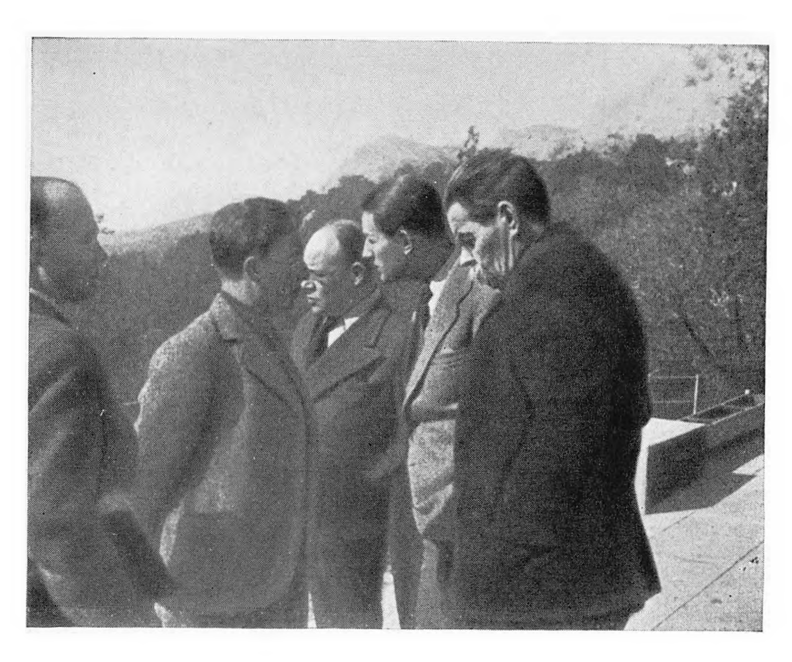
◀ *И. Э. Бабель с сестрой, М. Э. Шапошниковой. Бельгия. 1928 г.*



И. Э. Бабель на Первом московском конном заводе. 1930 г.



И. Э. Бабель. 1933 г.



А. М. Горький, Андре Мальро, И. Э. Бабель, М. Е. Кольцов. Тессели, Крым. 1936 г.



И. Э. Бабель с дочерью Лидой. Москва. 1937 г.

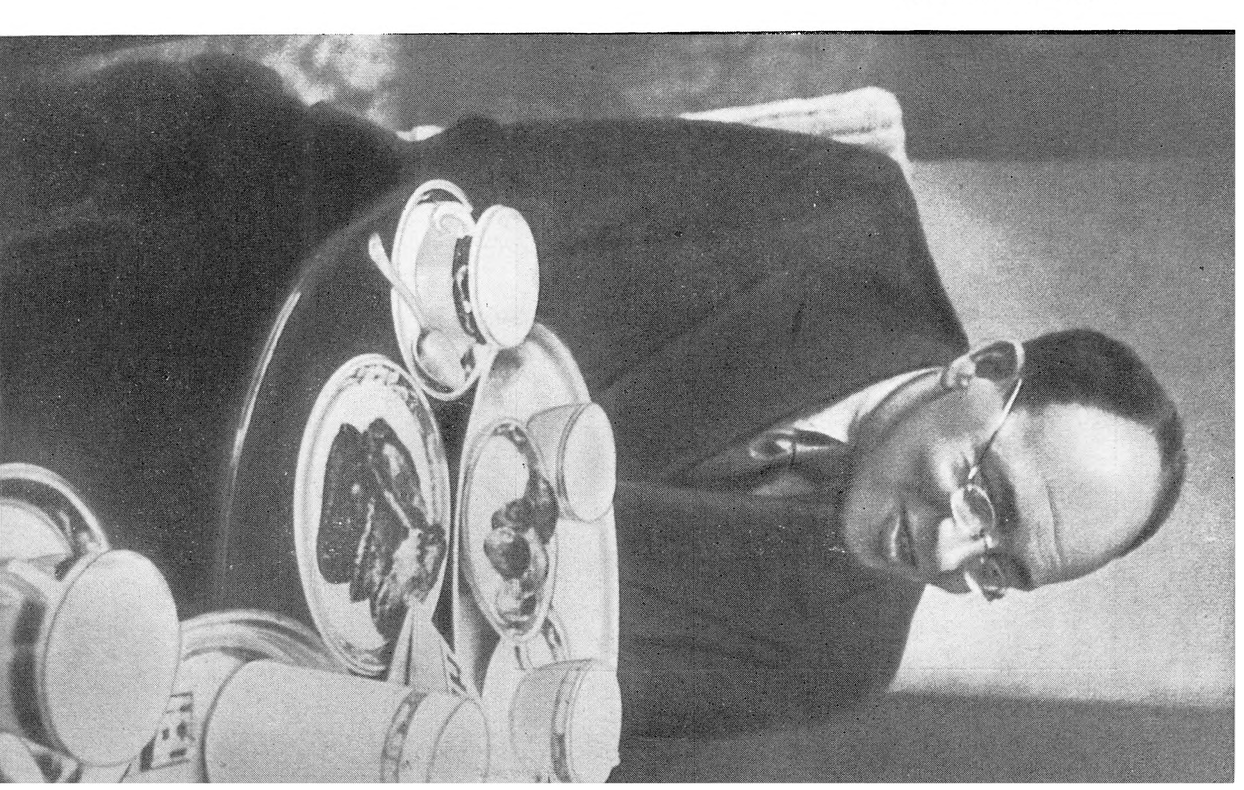


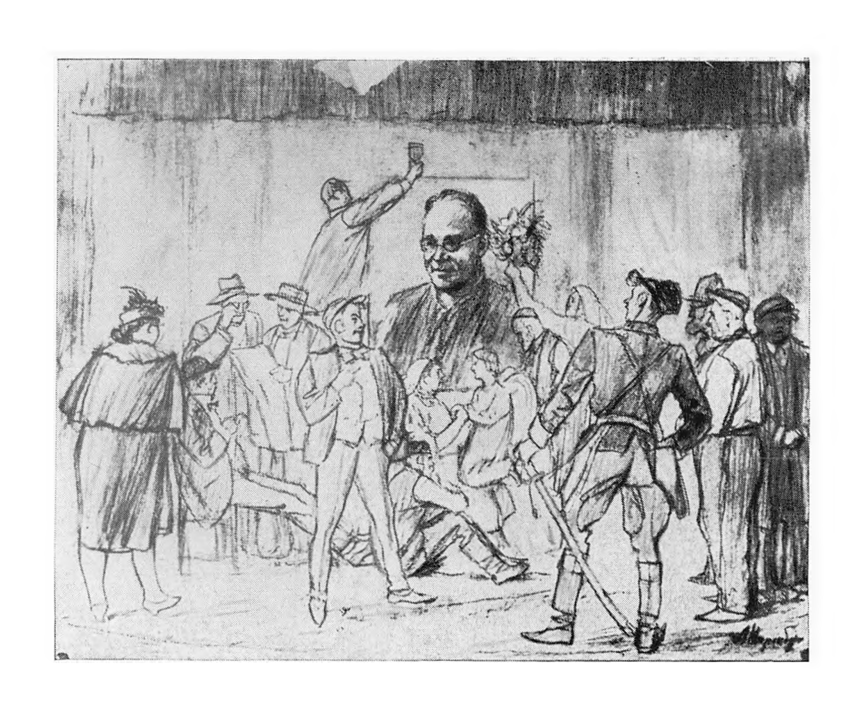
И. Э. Бабель и А. Н. Пирожкова под Киевом. 1935 г.



▲ *И. Э. Бабель, С. М. Эйзенштейн в Ялте на съемках фильма «Бежин луг». 1936 г.*

И. Э. Бабель. 1938 г.





И. Э. Бабель со своими героями.
Рис. художника А. М. Нюренберга.

дется[...] Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все сделается?

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо — не умею, мозги не осиливают. Я чувствую, впрочем, что житье, вольное житье в России принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу — только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитье зарабатывать...»

Из Парижа в Москву. 21. IX. 28 г.

«...Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев — который будет первым моим этапом — приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). В литературных или начальственных кругах вращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине...»

Из Киева в Москву. 24. X. 28 г.

«...В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захолустье работать. Куда поеду — еще не знаю. Противоположение Парижа и нынешней России так разительно, что я никак не могу собраться с мыслями и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Стараюсь, как только могу, привести себя в форму...»

Из Киева в Москву. 26. XI. 28 г.

«...Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часто го-

ловные боли, очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя[...]

Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости пройдут».

Вернувшись из-за границы, в 1928 году, Исаак Эммануилович принял героическое решение — в корне перестроить свою жизнь. Очиститься от халтуры, которой он считал свою работу в кино, начать работать только «для себя», то есть по законам искусства.

Он писал мне:

Из Киева в Москву. 11.XII.28 г.

«...теперь, когда я пытаюсь внести в мою жизнь, сколько могу, покоя и чистоты — я с горечью и раскаянием думаю, сколько было халтуры, сколько гнусностей, обид и ошибок. А может, это была судьба? Правда, от судьбы не уйдешь, не внешней, мотающей нас судьбы, а внутренней скорби и безумия».

Исаак Эммануилович крайне болезненно переживал любое вмешательство в творчество...

Во имя искусства он неустанно стремился все превозмочь и в себе и вокруг себя. Забился в «губу» к старой старухе.

Принести искусству все возможные и невозможные жертвы — вот каков был символ веры Бабеля.

А. Нюренберг

ВСТРЕЧИ С БАБЕЛЕМ

Москва. 1922 год. Начало лета. Петровка. У запыленной витрины, оклеенной пожелтевшими афишами, знакомая фигура. Всматриваюсь — Бабель. Подняв голову, чуть подавшись вперед, он внимательно рассматривает какую-то карикатуру.

Я подошел к нему, поздоровался. Не отвечая на приветствие и рассеянно рассматривая меня, он спросил:

— Читали последнюю сенсацию? — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Бабель — советский Мопассан!

После паузы:

— Это написал какой-то выживший из ума журналист.

— И что вы намерены делать?

— Разыскать его, надеть на него смирительную рубаху и отвезти в психиатрическую лечебницу...

— Может, этот журналист не так уже болен?..— заметил я осторожно.

— Бросьте! Бросьте ваши штучки! — ответил он, усмехаясь.— Меня вы не разыграете!

1927 год. Париж. Ранняя осень. Улица Барро. Район Бастилии. Нуворишевская гостиница «Сто авто». Пишу из окна столько раз воспетые художниками романтические крыши Парижа. Не могу оторваться. Некоторое время тому назад приехал Бабель, переполненный московским оптимизмом. С его приездом ранняя осень, кажется, чуть задержалась. Бабель не любил ничего напоминающего туристский стиль. Ультрадинамические осмотры и изучение музеев под руководством гида раздражали его. Не любил ничего показного, парадного. Все это, говорил он, для богатых американцев. Бабелю был близок простой, трудовой Париж. Его тянуло в старые, покрытые пылью и копотью переулочки, где ютились ночные кафе, дансинги, обжорки, пахнущие жареным картофелем и мидиями, обжорки, где кормится веселая и гордая нищета.

У Бабеля был свой Париж, как была и своя Одесса. Он любил блуждать по этому удивительному городу и жадно наблюдать его неповторимую жизнь. Он хорошо чувствовал живописные переливы голубовато-серого в облике этого города, великолепно разбирался в грустной романтике его уличных песенок, которые мог слушать часами. Был знаком с жизнью нищих, проституток, студентов, художников. Увидев картины Тулуз-Лотрека, он заинтересовался его тяжелой, горестной жизнью (Тулуз-Лотрек был разбит параличом) и потянулся к его творчеству. Он хорошо знал французский язык, парижский жаргон, галльский юмор. Мы часто прибегали к его лингвистической помощи.

Наступили серые, туманные, дождливые дни, и мы с Бабелем решили использовать их для хождения по музеям. Начали с Лувра. Местом свидания назначили «зал Джоконды» в одиннадцать часов утра. В условленный час писатель Зозуля и я уже стояли у Джоконды. Прождали час, но Бабеля не было. Потеряв надежду дождаться его, мы отправились в кафе. На другой день пришло письмо от Бабеля. Оно пропало, но содержание его сохранилось у меня в памяти. «Дорогой друг, простите мою неаккуратность. Меня вдруг обуяла нестерпимая жажда парламентаризма, и я, идя к Джоконде, попал в палату депутатов. Не жалею об этом. Что за говоруны французы! Встретимся — расскажу. Привет супруге. Ваш И. Бабель».

В другой раз местом свидания в Лувре назначили «зал Венеры Милосской», но Бабель опять нас обманул. Встретившись, мы набросились на него с упреками. Бабель галантно извинился и рассказал, что по пути в Лувр в витрине автомобильного магазина он увидел новые машины последних марок. Машины поразили его, и он не мог от них оторваться. «По красоте,— сказал он,— по цвету и по пластичности они не уступают вашим Джоконде и Венере Милосской. Какая красота! — повторял он.— Потом я набрел на витрину бриллиантов. В витрине лежали словно куски солнца! Решительно, в этих витринах больше современности, чем в музеях».

Так и не удалось нам с Бабелем попасть в Лувр.

* * *

Готовясь к персональной выставке в магазине какого-то предприимчивого маршана на улице Сен, жена Бабеля, художница, устроила в своей мастерской нечто

вроде предварительного просмотра и, как бывалых зрителей, пригласила Зозулю и меня. Мы пришли. На стенах висели камерные натюрморты и парижские пейзажи, написанные в постимпрессионистской манере. Работы были приятные, но не оригинальные. Чувствовалось, что художница стремится быть похожей на модных парижских живописцев, особенно на Утрилло.

Бабель сидел в стороне и все время молчал.

Когда показ кончился, он иронически заметил: «Теперь, друзья, вы понимаете, почему я не хожу в Лувр».

За чашкой кофе со сладкими пирожками мы поговорили об искусстве. Похвалили Пабло Пикассо, Пьера Боннара и наших русских Сутина и Шагала. Ругнули Бюффе и абстракционистов.

Любил ли Бабель живопись? Думаю и верю, что любил, но не так, как большинство наших писателей, которые в картинах ищут преимущественно содержания, мало обращая внимания на поэзию цвета, формы и фактуры.

Он глубоко верил, что искусство, лишенное чувства современности, чуждое новым выразительным средствам,— нежизнеспособно. И часто высказывал мысль, заимствованную у итальянских футуристов: «Музей — это великолепное кладбище».

Он не искал, как Зозуля, встречи лицом к лицу с живописью, но если случалось с нею встретиться, старался понять ее и, если возможно, искренне полюбить.

Его самолюбивая и гордая эстетика была совершенно чужда натурализму. О художниках, пишущих «á la цветное фото», он говорил как о дельцах и коммерсантах. Он верил и доказывал нам, что быстро развиваю-

щаяся цветная фотография с успехом заменит их бездушное творчество и очистит живопись от пошлости и убожества. Какую школу он больше всего любил? Пожалуй, импрессионистскую. Со всеми ее ответвлениями.

Были ли у Бабеля любимые художники? Были. Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо. Он интересовался творчеством Шагала, замечательного фантаста, беспримерного выдумщика. Расспрашивал о его методах работы. Вдохновенно говорил об офортах Гойи, где, как известно, политическое содержание играет доминирующую роль.

Он высмеивал кубистские экзерсисы Пикассо, Брака. Глупые и пустые опусы сюрреалистов. Хорошо отзывался о французских скульпторах Бурделе и Майоле. У него был отчетливо выраженный свой вкус. И он оберегал и защищал его.

Шестидесятилетие Максима Горького отметили во всем мире. Чествовали Горького и в Париже. Были организованы доклады и устроены небольшие выставки, посвященные творчеству великого писателя.

На одном из вечеров выступил Бабель. Вспоминаю, с каким искрящимся юмором провел он свое выступление, рассказывая, как столичные и провинциальные редакторы некогда «обрабатывали» литературные труды Алексея Максимовича. Публика бешено аплодировала. Выступление свое Бабель закончил воспоминанием о том, как Алексей Максимович благословил его на тяжелую и неблагодарную работу литератора и как однажды он сидел у Алексея Максимовича и вел с ним взволнованную беседу о советской литературе, а Горький все время отвлекался от разговора и что-то записывал.

Прощаясь, Бабель спросил его:

— Что это вы, Алексей Максимович, все время писали?

— Это я «Клима Самгина» кончаю,— ответил тот.

* * *

Узнав, что бывший редактор газеты «Одесская почта» Финкель торгует старой мебелью на «блошином рынке», Бабель пожелал с ним встретиться. Мы съездили с Исааком Эммануиловичем на рынок, и я познакомил его с Финкелем. Встреча носила сердечный и торжественный характер.

— Вы месье Финкель? — спросил Бабель, крепко пожимая руку бывшему редактору.

— Да, я Финкель.

— Редактор знаменитой «Одесской почты»?

— Да, редактор знаменитой «Одесской почты»... А вы, кажется, писатель Бабель, автор знаменитых одесских рассказов?

Не желая мешать их столь драматическому разговору, я ушел в глубь рынка, в ряды, где продаются старые холсты и антикварные рамы. Вернувшись через полчаса, я нашел Бабеля и Финкеля сидящими в старинных малиновых креслах «времен Наполеона». Лица их сияли, и выглядело это так, будто они выпили бутылку выдержанного бессарабского вина. В метро Бабель с грустью сказал мне:

— Жалко его. Разжирел, поседел и опустился. Я его спросил, куда делись его ценные подношения. «Все сожрали, когда жили в Вене,— ответил он.— Они нас спасли».

* * *

И снова Париж.

Возвращаясь поздно ночью из кафе, мы, «чтобы на Монпарнасе пахло Одессой», как говорил Бабель, распевали незабываемые одесские песенки: «Сухой бы я корочкой питалась. Сырую б воду я пила...» или: «Не пиши мне, варвар, писем, не волнуй ты мою кровь...».

Видавшие виды, ко всему привыкшие парижские полицейские не обращали на нас внимания.

Бабель любил подолгу простаивать перед газетными киосками, у витрин магазинов и лавчонок, внимательно читать объявления на уличных щитах. Он посещал судебные камеры, биржу, аукционные залы и места рабочих собраний, стремясь все подметить, запомнить и, если можно, записать.

В живописи он мне больше всего напоминал Домье — великого сатирика, насмешника и человеколюбца.

Бабель был неутомимым врагом пошлости и банальности в литературе и искусстве. Он высмеивал писателей, пишущих «обкатанным» языком.

— Они совершенно равнодушны к слову,— говорил он.— Я бы штрафовал таких писателей за каждое банальное слово!

— А художников, пишущих сладенькие олеографии, следовало бы исключить из союза,— добавлял я, вдохновленный его максимализмом.

* * *

Часто Бабель и Зозуля приходили ко мне в гостиницу выпить чашку московского чая и поделиться парижскими впечатлениями.

Исаак Эммануилович был неподражаемым рассказчиком.

Во всех его шутках, рассказах и сценках неизменно присутствовали строго обдуманная форма и композиция. Чисто бабелевская гиперболичность и острая, неповторимая выразительность были приемами, которыми он пользовался для достижения единственной цели — внушить слушателю идею добра. Он словно говорил ему: «Ты можешь и должен быть добрым. Слушая меня, ты будешь таким. Самая созидательная и важная сила в человеке — добро».

«Стыдно после рассказов Бабеля быть недобрым»,— думалось мне.

Кирилл Левин

ИЗ ДАВНИХ ВСТРЕЧ

Как-то в двадцатых годах я пришел к писателю Ефиму Зозуле, жившему в то время в переулке возле Плющихи, и застал у него молодого человека в парусиновой блузе и мятых сереньких брюках. Он был среднего роста, плотный, в очках, с высоким лбом и начинающейся от лба лысиной. Глаза его и выражение лица сразу привлекали внимание: в глазах была какая-то веселая недоверчивость,— они как бы говорили: все вижу, все понимаю, но не очень во все это верю. Лицо с широкими крыльями носа и толстыми губами выражало спокойную, доброжелательную силу.

Зозуля познакомил нас, и, услышав фамилию Бабель, я с нескрываемым восхищением взглянул на него. Бабель с дружелюбной усмешкой встретил мой взгляд. Я недавно прочитал в маленькой книжке «Библиотеки

«Огонек» его великолепные рассказы, так не похожие на то, что печаталось в те годы. Удивительные по языку, сжатости, скульптурной выпуклости, эти рассказы произвели на меня впечатление необыкновенное.

Бабель спокойно поглядывал на меня и, когда Зозуля сказал ему, что я родился в Одессе, спросил, на каких улицах я там жил.

— Заметьте,— вежливо добавил он, и глаза его смеялись,— я спрашиваю, не на какой улице, а на каких улицах вы жили, так как полагаю, что ваши уважаемые родители часто меняли квартиры и каждая следующая была хуже предыдущей.

Я смотрел на него с удивлением — он точно в воду глядел — и глупо спросил его, откуда он все это знает.

Озорная улыбка скользнула по его губам, и он назидательно объяснил, лукаво поглядев на меня:

— Вы худы и, как говорят мясники, упитаны ниже среднего. В вашем костюме я бы не рискнул пойти на дипломатический прием, а ваши ботинки не лучше моих.— Он вытянул из-под стола, за которым сидел, ногу в стоптанном башмаке.— Движения у вас несвободные, вы, вероятно, жили в тесноте и не были в родстве с Ашкенази и Менделевичами (известные одесские богачи). И еще я утверждаю, что ваша последняя квартира была на окраине города, вернее всего — на Молдаванке. Вы будете это отрицать?

Зозуля хохотал, откинувшись на спинку стула и подхватывая рукой свалившиеся очки.

— Н-не буду,— растерянно пробормотал я,— последняя наша квартира была на Прохоровской улице, угол Мясоедовской.

Бабель удовлетворенно кивнул головой.

— Это рядом с Костецкой,— сказал он,— улицей в

некотором отношении замечательной: Костецкая первая в Одессе улица по поставке воров, налетчиков и других не признаваемых законом профессий. Хорошо, что вы не жили там.

Столько острой наблюдательности и вместе с тем милого юмора было в его словах, произносимых медленно и значительно, с неуловимым каким-то оттенком, столько веселья было в его глазах, мягко смеющихся, с острыми лучиками в них, что я рассмеялся. Очень понравился мне этот человек, он показался мне простым и мудрым, многое понимающим и ничуть все же не возомнившим о себе.

После этого первого знакомства мне пришлось не раз встречаться с ним. Когда в редакции «Прожектора», литературно-художественного журнала, где я работал, собирались писатели, Бабель чаще всего забивался в уголок, внимательно слушал, но говорил редко, всегда коротко и сжато, как и писал. Как-то я подметил его взгляд. Лукавая мудрость погасла в нем, и глаза смотрели печально и отрешенно,— Бабель был уверен в это мгновение, что никто не наблюдает за ним.

Однажды в нашей редакции он увидел снимок, изображавший группу писателей на конях. В центре группы был снят Зозуля. Он сидел в седле в пиджаке, мягкой шляпе и брюках навыпуск. Бабель захохотал и спросил, откуда взялся этот снимок. Ему сказали, что снимок сделан в манеже на Поварской (теперь улица Воровского), где группа литераторов обучается верховой езде. Он попросил меня сводить его туда, и через несколько дней мы с ним пошли в манеж.

Здесь шла обычная, будничная учеба.

Бабель с отвращением оглядел трясущихся в седлах, гнувшихся вперед всадников, распустивших повод

и вот-вот готовых свалиться, и скорбно покачал головой. Мы пошли с ним на конюшню. В денниках стояли лошади. Он с наслаждением принялся оглядывать их, вдыхая их терпкий запах, что-то тихо бормотал.

— Как приятен мне этот запах,— сказал он,— как много он напоминает.

Мы остановились возле денника, где стоял черный злой жеребец Воронок, статный, красивый, весь собранный. Я предупредил Бабеля, что заходить к Воронку опасно — жеребец может укусить или лягнуть.

— Ничего,— сказал Бабель,— я не боюсь.

— Прими,— властно скомандовал он, и когда Воронок, храпя и кося выпуклым и синим, как слива, глазом, неохотно отступил к боковой стенке, спокойно и неторопливо вошел в денник и огладил жеребца по шее.— Ну что? — ласково прошептал Бабель.— Давай познакомимся? Э, да ты уже старый, может быть, даже воевал в Конармии? Да ведь по тебе видно, что ты боевой конь! Хороший какой!..— И, мягко коснувшись шеи и холки жеребца, он пощекотал его горло. Воронок сильно втянул воздух, обнюхал лицо Бабеля и негромко заржал.

— Как будто узнал вас,— сказал я,— а мог ведь и укусить.

— Конь прекрасно понимает человека,— сказал Бабель,— и презирает тех, кто его боится.

Мы вернулись в манеж. Там прыгали через препятствия. Длинный парень, бестолково взмахивая руками и распустив повод, вел коня на хертель — низенький забор с торчащими поверху метелками. Лошадь шла ленивой рысцой, небрежно помахивая хвостом, и, дойдя до хертеля, спокойно обогнула его.

Неожиданно послышался чей-то чужой, яростный голос:

— Как вы ведете коня? Собрать его надо, поднять в галоп и выслать на препятствие. А вы развесили повод, пассажиром в седле болтаетесь!

Я с удивлением оглянулся — это кричал Бабель.

Всадник презрительно оглядел его мешковатую, штатскую фигуру и издевательски промолвил:

— Кричать все здоровы, а ты бы, очкарик, сам попробовал прыгать.

Бабель мигом оказался возле него.

— Слазь! — грозно приказал он.— Раз, два!

Ошеломленный парень испуганно сполз с седла, и Бабель перетянул стремена — они были ему длинны. Потом он захватил левой рукой повод вместе с гривой, вдел левую ногу в стремя, взялся правой рукой за луку седла, оттолкнулся от земли правой ногой и мигом очутился в седле. И уже это был новый, незнакомый мне Бабель. Он свободно и чуть небрежно сидел в седле, натянутым поводом подтянул голову коня, сжал его бока шенкелями и коротким толчком каблуков выслал его вперед. И конь словно преобразился — весь подобрался, почуяв настоящего всадника.

Бабель повел его короткой, собранной рысью, описал вольт и резким толчком правого шенкеля поднял коня в галоп, потом свернул к хертелю, наклонился вперед, и конь птицей перелетел через препятствие. Молодецки спрыгнув на землю, не выпуская повода, Бабель крикнул парня и командирским голосом бросил:

— Повод не распускать, в седле сидеть крепче!

И быстро пошел из манежа. Во дворе он повернулся ко мне и промолвил:

— Человека трудно понять. Вдруг снова захочется скакать, брать барьеры... Не мог видеть, как портят коня.

Слава пришла к нему стремительно, шумно. Его переводили на иностранные языки, редакции лучших журналов осаждали его, просили рассказы. А он работал медленно, вытачивая каждое слово, каждую фразу, вечно недовольный собой, подолгу ничего не давая в печать, но не прекращая упорной работы. Он был общителен, у него было много друзей, и когда он, обычно немногословный, вдруг начинал рассказывать,— а рассказывал он изумительно,— было похоже, будто художник широкими мазками набрасывает на полотно то, что видно ему одному.

Он любил жизнь, много и жадно изучал ее и какие только профессии не перепробовал! Известно, что после его первых неудачных рассказов Горький послал его «в люди» и Бабель семь лет ничего не печатал, хотя все это время работал. А в тридцатых годах он, уже знаменитый писатель, опять усомнился в том, правильно ли пишет, и снова замолчал, перестал печататься, не переставая писать.

Его выбрали делегатом на Международный конгресс писателей, происходивший в Париже. Лучшие писатели Франции встретили его как равного — переводы его рассказов были известны и высоко оценены там. Он прекрасно владел французским языком и блистательно выступил на конгрессе. Его слушали с глубоким интересом, аплодировали.

В последний раз я видел Бабеля в 1936 году, когда он собирался на Северный Кавказ, где подолгу гостил у своего друга, партийного работника Кабардино-Бал-

карской АССР Бетала Калмыкова. Мы шли по Тверской, и он напомнил мне, что я обещал подарить ему мою последнюю книгу. Я предложил сделать это сегодня же вечером.

— Я сегодня уезжаю,— ответил Бабель,— но когда вернусь, вы придете ко мне с вашей книгой.

Он был спокоен, шутил. Прощаясь, сказал, пожимая мне руку:

— Вы не собираетесь в Одессу? Если поедете, поклонитесь ей от меня.

Т. Стах

КАКИМ Я ПОМНЮ БАБЕЛЯ

Весной,— если память мне не изменяет, это было в 1923 году,— я познакомилась с Исааком Эммануиловичем Бабелем. Стах [1] привел его однажды к нам. Жили мы тогда в Одессе, на Пушкинской, 7. Дома этого уже нет, в годы войны в него попала бомба.

Гость посмотрел на меня с некоторым любопытством и сказал насмешливо:

— Слишком молодая!

Помолчав, спросил:

---

[1] Борис Евстафьевич Стах-Гереминович (1894—1953) — партийный и советский работник. В двадцатых годах был завагитпропом Одесского губкома. С 1925 года по осень 1928-го директор Одесского государственного украинского театра драмы.

— Жареную скумбрию умеете готовить? А кислое вино пьете? А соус из синеньких по-гречески любите?.. Тогда вот что. Я уже договорился со Стахом. Есть у меня один чудесный старик. Любич. Живет на берегу. В рыбацкой хижине. Словом, через неделю отправляемся к нему в гости. Поживем там несколько дней.

Исаак Эммануилович был точен. Ровно через неделю он пришел снова.

— Едем завтра. Никаких тряпок с собой не брать. Спать будете на лежанке, остальное время — на берегу или в море. Договорились?

И настало райское житье.

Дни сменяли короткие ночи, жизнь текла размеренно и однообразно, но никто из нас ни разу не испытал чувства скуки или неприятного ощущения безделья... Это было какое-то удивительное слияние с природой, с морем... На всю жизнь я благодарна Исааку Эммануиловичу за те недолгие прекрасные дни.

Каждое утро серебристые качалочки вычищенной и промытой скумбрии лежали в миске. Обваляв в муке, я жарила их в постном масле, и когда рыба покрывалась золотисто-коричневой хрустящей корочкой, отбирала несколько самых твердых помидоров из корзины гостеприимного хозяина и звала мужчин завтракать. Обычно дед Любич (вообще-то он был наборщиком, а в ту пору находился не то в отпуску, не то еще по какой-то причине на работу не ездил) разделял с нами эту утреннюю трапезу.

Бабель чуть не каждый день сокрушался, что вишни не поспели. Он страстно любил крепкий, почти черный чай с вишнями, раздавленными в стакане...

Затем начиналось море. Море и море. Мы загорали,

чувствовали себя преотлично... Молодые, здоровые, бодрые, морская даль, безоблачное небо, размеренное движение волн — чего еще желать?

Когда мужчины начинали разговор, я уходила подальше, купалась и совершенно не интересовалась их беседами. Как сожалею я теперь об этом!

Лунные теплые ночи мы чаще всего коротали на берегу, любуясь тихой морской гладью, и попивали самодельное вино старика Любича. Легкое, чуть с кислинкой, оно не пьянило, оно попросту отнимало ноги. Мы буквально не в состоянии были сделать и шага, как, впрочем, и оторваться от этого вина...

Так пролетели десять или двенадцать дней.

С той поры и завязалась наша дружба. Бабель часто звонил, интересуясь буквально всем: и поведением «ребенка» — моей дочери, и здоровьем наших матерей,— к пожилым женщинам он относился как-то особенно, беседовал с ними на любые темы, и видно было, что ему интересны эти разговоры, что они доставляют ему удовольствие.

В журнале «Силуэты», выходящем в Одессе, появился тогда один из первых рассказов Бабеля — «В щелочку», всколыхнувший «всю Одессу»... Одни сочли его чрезмерно натуралистическим, другие восхищались мастерством и лаконичностью автора.

Бабель только посмеивался.

Однажды раздался звонок. Я отворила дверь, и грузчики втащили огромнейший буфет... Оказалось, что Исаак Эммануилович, производя некоторую расчистку у себя дома, презентовал нам свой, как он сказал, «похожий на синагогу»,«фамильный» буфет. Это было громоздкое черное сооружение с резными украшениями, где невероятно прочно оседала пыль... Буфет с трудом

втиснулся в нашу квартиру и занял подобающее ему место в столовой. Долго у нас жил этот буфет, и Бабель всегда проверял его содержимое. Не могу сказать, чтобы он оставался довольным, и не раз называл меня бесхозяйственной кукушкой.

В 1928 году мы переехали в Киев; буфет остался в нашей прежней квартире и пропал со временем вместе с остальной мебелью.

Но вернусь несколько назад.

Зимой — пожалуй, это был 1924 год — на гастроли в Одессу приехала Айседора Дункан.

Б. Пильняк и Вс. Иванов, находившиеся в ту пору в Одессе, художник Борис Эрдман, редактор «Одесских известий» Макс Осипович Ольшевец, Бабель и Стах решили чествовать Айседору и собраться в узком кругу в Лондонской гостинице.

Айседора на таких встречах не выносила присутствия женщин. Исаак Эммануилович пожалел меня — мне страстно хотелось быть на этом ужине — и взялся переубедить Айседору. Он намекнул ей, что я не женщина вовсе, а известный в Одессе гермафродит, и к тому же ярый поклонник ее таланта. Айседора пожала плечами и без особого энтузиазма разрешила мне присутствовать.

О всех этих подробностях я узнала значительно позже, поэтому явилась на вечер в блаженном неведении...

Мы сидели в полутемной большой комнате Лондонской гостиницы. Ужин проходил весело и непринужденно, хотя Айседора показалась мне печальной и рассеянной. Это была уже немолодая женщина с изумительными глазами какого-то блекло-сиреневого цвета и

медно-красными волосами, довольно коротко подстриженными. После ужина ее упросили танцевать. С большого стола все убрали, аккомпаниатор сел за рояль. Айседора поднялась и начала медленный танец на столе. Босая и полунагая, она постепенно сбрасывала с себя все свои разноцветные прозрачные шарфы и делала это очень ритмично, в такт музыке.

Наверное, это было красиво и оригинально. Все, естественно, были в полном восторге, целовали ей руки, восхищались и благодарили, пили за ее здоровье. Бабель, высоко подняв брови, с удивлением и крайним любопытством смотрел на Айседору. Несколько раз снимал и протирал очки. Его как бы «раздетое» без очков лицо казалось беспомощным и очень добрым...

Разошлись под утро.

Когда мы шли по пустынному Приморскому бульвару, Бабель сказал:

— Здорово, конечно! Но далеко ей до Жозефины Беккер! Та пленяет хоть кого, желает он этого или не желает. Это огненный темперамент и мастерство великое. А таких ног, как у нее, я вообще никогда не видел!..

Бабель не раз потом рассказывал нам о Жозефине Беккер и неизменно восхищался ее необыкновенным талантом.

* * *

Вскоре Исаак Эммануилович переехал в Москву.

На премьере своей пьесы «Закат», поставленной в Одессе, он не был, несмотря на обещание приехать. «Закат» проходил с шумным успехом. Толпы людей

осаждали кассы. Спектакль и впрямь был хорош, великолепно сыгранный Юрием Шумским, Полиной Нятко, Маяком, Мещерской, Хуторной.

«Закат» шел и в Украинском и в Русском театрах, публика валом валила в оба театра,— каждый считал своим долгом посмотреть оба спектакля и определить, чей «Закат» лучше...

* * *

Миновало несколько лет. Мы долго не виделись с Бабелем...

В конце 1928 года он приезжал в Киев. Мы жили тогда в помещении Театра имени Франко (Стах был директором этого театра). Бабель прожил у нас около недели, много гулял по Киеву, который он любил, неизменно восхищаясь Печерском,— он считал этот район самым красивым местом в Киеве. Я не раз сопутствовала ему в этих прогулках. Однажды мы зашли в цветочный магазин. Долго и придирчиво выбирая цветы, Бабель заказал к Новому году несколько корзин цветов для своих киевских приятельниц и все волновался, не пропустил ли кого. Получила и я от него такую новогоднюю корзиночку альпийских фиалок.

Ему очень нравилось жить в театре. После спектакля он заходил в пустую ложу и подолгу иногда сидел там... Затащить его на спектакль было гораздо труднее: в тот период он больше увлекался кино. Но когда удавалось пригласить его на спектакль, высидеть до конца у него почти никогда не хватало терпения. Помню, я спросила его, нравится ли ему «Делец» Газенклевера, премьеру которого он посмотрел. Подумав, он сказал

кратко: «Вообще неплохо, но у этой красивой актрисы слишком много зубов»...

Еще раз он приехал в Киев уже в 1929 году, но я тогда была в Одессе и знаю только, что он прожил у нас несколько дней, жалуясь на сильный мороз. Он говорил, что дышится ему легче в туман или слякоть, только не в мороз (астма уже тогда, очевидно, мучила его).

В 1934 году мы решили перебраться в Москву. Решение это очень поддерживалось Бабелем, он неоднократно писал нам, что это просто необходимо. Торопил. К несчастью, все его письма пропали во время войны в числе других драгоценных реликвий. Чудом уцелела из довольно обширной переписки одна-единственная открытка. В суете, в работе, обремененный планами и заданиями, поездками и встречами, он все же находил время писать нам, интересовался нашей жизнью, приглашал дочь мою — ей было тогда лет двенадцать-тринадцать — в Москву («пока родители поумнеют»). Привожу текст этой недавно найденной открытки — единственной теперь памяти о Бабеле.

«М. 26. III. 34 г.

Милая Т. О. Где же Бэбино письмо, о котором вы сообщаете? Приглашение остается в силе, надеюсь, что летом мы приведем сей прожект в исполнение, я-то буду очень рад. Суета по-прежнему одолевает меня, но меньше, большую часть времени провожу за городом, собираюсь совсем туда переселиться. Работаю над сценарием по поэме Багрицкого — для Украинфильма. Повезу его в Киев и по дороге остановлюсь в Харькове. Поговорим тогда. Получил письмо от Жени. Парижский мой отпрыск требует отца и порядка, как у всех прочих

послушных девочек. Я в тоске по поводу этого письма. Привет Стаху и Бэбе. Ваш И. Б.»

Обещанная встреча по каким-то причинам не состоялась. Вскоре мы переехали в Москву.

В день приезда я позвонила Бабелю, и он в этот же день пришел к нам на Покровку, где мы остановились, и потащил нас в МХАТ. Разговор был короткий и, как всегда, не терпящий возражений: «Нельзя быть в Москве и не посмотреть «Дни Турбиных».

Он сидел и смотрел спектакль, виденный им не раз, с таким же волнением, как если бы видел его впервые.

Играли тогда Хмелев, Еланская, Яншин... Я была очарована. Исаак Эммануилович посматривал на меня и, увидя, что я прослезилась, остался очень доволен.

Как-то он пришел к нам, когда я правила после машинки свой перевод какого-то рассказа. Он взял листок, прочел его и сказал:

— Сколько можно употреблять прилагательных? «Милый, ласковый, добрый, отзывчивый...» Боже мой! Одно — максимум два, но зато — разящих! Три — это уже плохо.

В тот его приход он рассказывал мне, как был на кремации Эдуарда Багрицкого. Его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают, где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания. Рассказывал, как приподнялось тело в огне и как заставил себя досмотреть это ужасное зрелище.

В памяти запечатлелись несколько дней, проведенных у него на даче в Переделкине в 1938 году.

Он жил там с семьей, у него уже была дочь. После работы я приезжала на дачу и готовила Бабелю его лю-

бимое блюдо — соус из синих баклажанов,— блюдо, которое ему никогда не приедалось. С пристрастием пробовал он и смаковал горячий еще соус, скуповато похваливал меня, но ел с аппетитом.

Он много работал в тот период, иногда отрываясь, чтобы походить по саду, сосредоточенно о чем-то размышляя и ни с кем не разговаривая. Был рассеян. «Много времени уходит на обдумывание,— как-то «открылся» он мне.— Хожу и поплевываю. А там,— и он небрежным жестом показал на свой высокий лоб,— там в это время что-то само вытанцовывается. А дальше я одним дыханием воспроизвожу этот «танец» на бумаге...» Правда, «одно дыхание» часто оборачивалось для него десятикратным переписыванием в поисках недававшегося ритма, незвучащего слова, длинной фразы, с которой он безжалостно расправлялся. Но на эту тему он говорил очень редко, да и то вскользь. Я немного знала об этом, так как иногда перепечатывала ему одни и те же страницы по нескольку раз...

Вернувшись в Москву, он нередко посылал меня по всяким поручениям в редакции толстых и тонких журналов. Это называлось «охмурять редактора».

Очень хорошо помню, как явилась к Ефиму Давыдовичу Зозуле — он был тогда редактором «Огонька»— и тоном заговорщика, как учил меня Бабель, сказала, что перепечатывала новый рассказ Исаака Эммануиловича и могу «устроить» ему этот рассказ. Только после того, как последовало соответствующее распоряжение в бухгалтерию, рассказ был вручен редактору.

Однажды Бабель получил устрашающее предписание из бухгалтерии вернуть взятый аванс. В памяти моей осталось, как я отправляла лаконичную телеграм-

му в ответ. В телеграмме значилось что-то вроде того, что «письмо получил, долго хохотал, денег не вышлю».

Бабель был очень отзывчивым и добрым человеком, многим он помогал, как мог. Не раз я отправляла по его поручению небольшие суммы. По одному адресу он посылал довольно регулярно и всегда говорил, дописывая на переводе несколько теплых строк: «Это святые деньги. Она старая, больная и совершенно одинокая женщина...»

Чаще всего я виделась с Исааком Эммануиловичем в 1937—1938 годах. Чуть не каждый день в перерыв (я работала тогда во Втором Доме Наркомата Обороны) я мчалась к Исааку Эммануиловичу. То бумагу хорошую прихвачу (с бумагой тогда было трудновато,— да простят мне сей грех бывшие мои начальники!), то вишни Бабель просил купить, то еще что-нибудь... Как приятно было оказывать ему эти пустяковые услуги! Антонина Николаевна была очень занята, работа поглощала массу времени, Лида была совсем крошкой, и весь дом держался Э. Г. Мокотинской, которая подолгу жила там и которой я всегда слегка завидовала...

Исаак Эммануилович много шутил. Что только не приходило ему в голову! Какую-то сотрудницу одного из журналов он упорно величал по телефону «Леопардой Львовной», искренне всякий раз принося свои извинения, но тут же снова «ошибался»... Сочетание этих слов ему очень нравилось. Иногда, избегая назойливых звонков, подходил к телефону и совершенно измененным, «женским» голосом говорил: «Его нет. Уехал. На неделю. Передам».

В разгар работы он вдруг срывался с места и шел в спальню, тискал и душил поцелуями свою дочь, при-

говаривая: «Будет уродка и хозяйка преотличная. Замуж не отдадим — останется в утешение родителям в старости».

Он много работал, часто подолгу вышагивал из угла в угол по своему небольшому кабинету, сосредоточенно думая о чем-то. Сокровенного процесса его творчества, думается мне, никто не знал. Этим таинством он не делился.

Михаил Зорин

ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

— «...Город накрыли темной чадрой...» — читает Бабель. Он снимает очки, протирает стекла платком, чуть щурит глаза.

— Красиво звучит. А? Почему вы не написали: «Была темная ночь»?

— Так может написать каждый,— бросает кто-то смущенно.

— Ну и что же?— Бабель пожимает плечами.— Пушкин пишет в «Дубровском»: «Луна сияла, июльская ночь была тиха...» Чехов еще точней: «Было двенадцать часов ночи». Не нагромождайте красивостей. Красивость — всегда фальшива. В вашем рассказе нет деталей. Я не вижу, как одет ваш герой, не вижу его движений, не вижу комнаты, в которой он сидит. Начало рассказа состоит у вас из общих слов. Пушкин так

начинает «Дубровского»: «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение». Так же просто начинает своих «Мужиков» Чехов: «Лакей при московской гостинице «Славянский базар» Николай Чикильдеев заболел». Вчитайтесь, какая точность и ясность. В короткой, до предела лаконичной фразе жизнь человека. Мы узнаем его имя, фамилию, работу, место жительства, название гостиницы и состояние здоровья. Я часто вижу Чехова за письменным столом, вижу, как он пишет свои рассказы. Итак, договорились, война — красивостям...

— У меня в рассказе есть такие строки,— глухо говорит молодой человек:— «Ветер растрепал облака, и они повисли над городом, как черные косы». Они мне нравятся. Что делать, вычеркнуть?

— Мне они не нравятся,— смеется Бабель,— как это ни грустно. Мне больше нравится такая фраза: «Ночь приближалась и росла, как грозовая туча».

— Это Пушкин?— спрашивают с места.

— Нет, Тургенев, но также неплохо написано. Какие ощущения, какие чувства вызывает такая строка. У каждого из нас одинаковые перья, но писать они должны по-разному. Вчера я спускался в шахту и видел, как работают забойщики. Я обратил внимание, что многие шахтеры по-разному держат отбойные молотки. Они делали одно дело — добывали уголь. Но каждый делал это по-своему...

Мы сидим за круглым столом и пристально смотрим на Бабеля, удивляемся: он буднично прост и даже застенчив. Круг людей очень плотен.

— Вы окружили меня теплым течением Гольфстрима,— смеется Бабель, чувствуя повышенный к себе интерес, который мы по-юношески не можем скрыть.

Мы — это начинающие авторы, делегаты слета, студенты, молодые журналисты, рабочие шахт и заводов. Один из нас, линотипист, принес набранные им самим стихи и рассказы.

Бабель держит в руках гранки, заинтересованно спрашивает:

— Издаетесь?

— Нет...— смущается юноша. Он сбивчиво объясняет, что начальник цеха, узнав, что Бабель будет читать рукописи, разрешил линотиписту набрать рассказы.

— Так Бабелю будет удобно и потом... солидно,— сказал начальник.

И в самом деле — гранки выделяются среди рукописей, напечатанных неумело и густо на пишущей машинке, и тетрадей, в которых от руки старательно переписаны рассказы, новеллы, этюды и даже повесть.

— Смелый автор,— добродушно посмеивается Бабель.

Линотипист говорит, что ему захотелось посмотреть, как выглядят сочиненные им строки «в металле».

— Понятное желание...

Бабель рассказывает, что однажды в Одессе девушка принесла ему альбом, в который записывала свои стихи. Они были выписаны каллиграфически, каждая буква «отработана». Стихи робко-слабые, гимназические, но почерк не мог оставить человека равнодушным. Почерк вызывал восхищение. Строка к строке, на под-

бор. «Где вы научились так красиво писать?» — спросил ее Бабель. «На почте...» — ответила девушка. И писатель объяснил нам смысл этого ответа.

Многие одесские студенты зарабатывали тем, что писали на почте за неграмотных письма родным и близким. Люди любили красивый и четкий почерк. Люди диктовали свои письма, определяя их стиль. Одесский грузчик-украинец предпочитал лирику, солдат из далекой Сибири — сдержанную тоску и хозяйственную деловитость, еврей неудачник-коммерсант — горесть, молдаванин — возвышенно-цветистый слог, но всем нравилось, чтобы письма были «подлиннѐй и посердечней». Некоторые студенты тренированно заучивали тексты писем, заготовленные на случай рождения, смерти, свадьбы, успешного завершения торговой сделки, жалобы на здоровье, безденежье, но были и «художники», которые вели, выражаясь современным языком, «интервью» с неграмотными и писали каждый раз новые письма, сугубо частные, с различными житейскими сюжетами.

По своему складу интимного лирика девушка чаще и больше всего писала на одесском почтамте любовные послания. Это сказалось и в стихах.

— Стихи не произвели никакого впечатления, а почерк — незабываем, я его и сейчас вижу. Редкий...

Бабель передает гранки линотиписту.

— Итак, начнем с «металла».

* * *

Бабель, по выражению Эренбурга, ни на кого не был похож, и никто не мог походить на него. Он всегда писал о своем и по-своему; именно к этому призывал

он нас в декабре 1935 года, когда встречался с участниками Вседонецкого слета молодых писателей.

Объявили, что гости поедут на шахты, заводы, фабрики, в колхоз, где живет и работает Паша Ангелина.

Утром к гостинице «Металлургия» подкатили легковые машины, автобус. Бабель вежливо отказался от легковой машины, он решил ехать в автобусе с молодежью.

— Хорошо было бы затеряться в толпе заводских рабочих, послушать разговоры, шутки, споры... Писатель-экскурсант,— Бабель смеется,— это ужасно.

Автобус мчится по Макеевскому шоссе. В Макеевке, на металлургическом заводе имени Кирова, работает мастером в доменном цехе знаменитый Иван Григорьевич Коробов. Едем к нему. Бабель расспрашивает о старшем Коробове, о его сыновьях, которые, как и отец, стали доменщиками.

Макеевский завод-гигант изумляет Бабеля. Он оглядывает его с площадки доменной печи. Внизу паровозы, ковши с расплавленной массой чугуна, ветер, дым, обжигающий аромат кипящего металла, гудки, грохот подъемников, облака газа над литейным двором. Люди в брезентовых куртках и широких брезентовых шлемах, в синеватых очках, приподнятых на лоб, сильные, улыбающиеся.

Макеевка в декабрьском тумане, заснеженные терриконы, ветви железнодорожных и шоссейных дорог.

Рыжеусый, бронзоволицый, веселый, Иван Григорьевич Коробов рассказывает о работе доменщиков, вскользь — о своих сыновьях.

Коробову представляют писателей здесь же, на площадке: Бабель, Олеша, Дмитрий Мирский, Перец Маркиш, Вилли Бредель, Беспощадный, Авдеенко...

9 Заказ № 484

— Слыхал.— Коробов в распахнутой телогрейке, на шее цветной шарф, ушанка.— Беспощадный, Авдеенко — наши, донбасские... И Бабеля читал, про гражданскую войну, что ли?

Коробов приглашает писателей взглянуть, как варится чугун. По очереди подходят к «окошку» размером в медный пятак, долго вглядываются через синее стекло в огненную массу горна.

— Чугун варить трудно?— Юрий Карлович Олеша поеживается под ветром.

— Следить дюже надо, чтобы не переварить,— смеется Коробов,— или недоварить. Без «сала», без жирка, должен быть. На чугуне свет стоит...

Немецкий писатель Вилли Бредель спрашивает, давно ли работает Коробов на заводе.

— Пацаном пришел, мальчонком.— Он показывает рукой, мол, мал был ростом.— Батя горновым был. Вот здесь и я стараюсь... Теперь все по книгам, анализы, лаборатории, а раньше на глазок узнавали, хорош ли чугун. Немцы-то небось теперь чугун и сталь на войну варят? — обращается он к Вилли Бределю.

Вилли Бредель смущается, говорит что-то по-немецки, словно он в ответе за то, что происходит сегодня в гитлеровской Германии. Он говорит Коробову, что в Германии есть очень хорошие мастера на заводах, он видел в Гамбурге, Кёльне, Ростоке, Берлине.

— У нас тут, правда, в Макеевке, больше французы были, но и немцы попадались. Башковито работали, зер гут,— соглашается он с Вилли Бределем.

Со стороны степи летит большая птица. Осторожно кружит в небе, застывает над заводом, разбросав большие крылья.

— Что за птица? — спрашивает Бабель, протирая запотевшие очки. — Весьма любопытная картина...

— Орел, степной, донецкий, летит погреться в заводском дымку...

Писатели наблюдали пуск чугуна. Подошли составы, раздалась команда, пробурили летку, запахло едким дымом, искрящаяся, жаркая огненная струя, словно зверь, вырвалась из печи, тяжело бурля, падала в ковши.

В автобусе Бабель все еще продолжал расспрашивать о шахтах и заводах Донбасса, он весь под впечатлением только что увиденного. Исаак Эммануилович припоминает повесть Василия Гроссмана «Глюкауф», опубликованную в альманахе «Год 16-й».

— Хорошая книга, очень понравилась Алексею Максимовичу. Правда, чуть суховатая, но точная...

— Технически?

— Технически и художественно. Представьте себе повесть, в которой неправильно будет описан процесс варки чугуна. Такой человек, как Иван Григорьевич Коробов, просто обидится. Толстой описал Бородинское сражение не только как художник, но и как знаток военного дела. Может быть, это объясняется еще и тем, что он пережил оборону Севастополя.

Юрий Олеша, перебравшись в автобус, сидит рядом с Бабелем. За окном — шахты, рудничные поселки, розоватые отблески зимнего неба.

— Огненный край, — говорит Олеша.

— Если я буду писать о Коробове, о заводе, — Бабель смотрит на Олешу, — я начну свой рассказ с описания...

— ...льющихся огненных рек, — торопится кто-то из молодых писателей.

Бабель поворачивается, смотрит на юношу. Он устало щурит глаза. Сегодня был очень тяжелый день.

— Чугунные реки,— повторяет юноша.

— Это очень красиво звучит: огненные реки, чугунные реки, бурлящие огнем реки,— перечисляет Бабель.— Я бы начал рассказ с этого степного орла, который греется в заводском дымку, как сказал Иван Григорьевич Коробов. Итак, договорились: орел остается за мной...

Устроили большой литературный вечер. Выступили Юрий Олеша, Александр Авдеенко, Александр Решетов, Владимир Лифшиц, Иван Кириленко, Юрий Черкасский, Павел Беспощадный, Перец Маркиш, Николай Ушаков. Председательствующий, Юрий Карлович Олеша, предоставляет слово Исааку Бабелю.

— В этом году я пережил два съезда писателей,— начинает Бабель.— Первый состоялся летом этого года в Париже. Второй съезд — ваш. Первый проходил в одном из красивейших архитектурных памятников Парижа. Ваш съезд проходит в стандартном, темном, даже мрачноватом здании. На вашем съезде нет таких знаменитых писателей. Но удивительное чувство охватывает меня, когда я вглядываюсь в ваши лица людей, только пробующих свои силы, свое сердце в литературе. Я думаю о тех новых книгах, которые появятся через несколько лет. Я думаю о будущем нашей советской литературы...

Бабель говорит медленно и тихо. Никаких ораторских жестов, никаких трибунных интонаций, никакой игры. Он цепко ухватился руками за край кафедры. Поблескивают очки.

— У вас есть драгоценные качества: молодость, энергия, у некоторых, кроме любви к литературе,— та-

лант. Вы живете в шахтерском краю и знаете: трудно добывать уголь. Слово добывать также нелегко. Раньше писали: один философ — властитель дум, другой писатель — властитель душ. Мне не нравится слово властитель. Мне по душе другое слово — единомышленники. Сейчас тревожное время. О берег жизни бьет зловонная волна фашизма. Мы должны быть единомышленниками в борьбе против фашизма. Горький, Роллан, Барбюс, Арагон, Мальро призывают бороться против войны, против фашизма. Об этом страстно, горячо, может быть, несколько противоречиво, но одинаково согласные в главном, говорили писатели в Париже. Нельзя дать фашизму восторжествовать, а фашизму уступают не только территорию Германии, но уступают душу и мозг немцев. Нельзя допустить, чтобы фашизм убивал людей.

Бабель говорит о том, как проходил Конгресс писателей в защиту культуры в Париже. Перед ним нет блокнотов, записей. Кажется, что он просто рассказывает близкому человеку о своих мыслях и чувствах. Бабель желает успеха молодым литераторам и хочет оставить трибуну. Юрий Олеша останавливает его жестом:

— Исаак Эммунуилович! Тут накопились записки, множество вопросов. Надо ответить.

Он передает записки Бабелю. Тот медленно разворачивает их, читает вслух:

— «Сколько часов в день вы работаете?»

— Процесс писания не прекращается у писателя, даже когда он не сидит за рабочим столом. Но я пишу, когда чувствую, что не написать об этом не могу. Маяковский говорил, что он себя чувствует заводом. Есть заводы большие, как в Донбассе, с домнами и мартеновскими печами, есть маленькие...

— А какой вы завод?— спрашивают из зала.
— Я — человек,— отвечает Бабель.
Следующая записка:
— «Скажите, как надо писать?»
В зале смех. Какой чудак задал такой вопрос? Впрочем, он закономерен. Большинство участников съезда зеленая молодежь.
— Я не могу ответить на этот вопрос. Я и автор записки думаем по-разному. Он — как надо писать, а я думаю о том, как не надо писать...
— «Есть ли у вас записные книжки?»
— Я уважаю писателей, которые обзаводятся записными книжками, заносят темы, мысли, фразы... Это большое подспорье. Но часто они лежат в ящиках стола забытыми. Иногда увидишь на улице лицо женщины, и не нужны записные книжки. Лицо — рассказ и даже роман. И потом долго думаешь: где я видел эти глаза, эти губы, этот нос? Кто на меня так смотрел? Не глаза, а целый мир душевных драм...
Вчера из окна гостиницы я видел, как падал снег. Происходила обычная вещь. Декабрь, зима... А я думал, что это тоже рассказ. Скажем, «Снег в Донбассе». Он здесь другой, чем в Москве или Париже, и земля здесь другая. Но как об этом написать? Этого я еще не знаю, может быть, и никогда не узнаю. И поэтому мне становится грустно...
Бабель читает еще одну записку, застывает от удивления.
— «Почему у вас на носу очки, а на душе осень?»
Он смущенно разводит руками.
— На носу очки потому, что я плохо вижу, а на душе у меня четыре времени года. Конечно, хотелось бы, чтобы всегда была весна, как пишут поэты, но в

моем возрасте и с моей внешностью этого добиться трудно.

Из президиума передают все новые и новые записки.

— «Я пишу стихи и работаю в газете. Нужно писать о столовых, банях, о бюрократах, а я вечером пишу стихи. Стоит ли мне работать в газете?»

— Стоит!

Писатель рассказывает о том, как он работал в одесской газете «Моряк», в красноармейской газете Первой Конной.

В редакцию приходили участники гражданской войны — котовцы, щорсовцы, моряки, бойцы речных флотилий, грузчики, судостроители, авантюристы и проходимцы, прикрывающиеся фальшивыми документами и вымышленными подвигами. Бабель рисует этих людей — их походку, речь, одежду.

— Я старался их просто слушать. Как только я брался за перо или карандаш, они сразу меняли тон, они подбирали другие слова, становились осторожными и даже пугливыми. К нам приходил один бывший боец котовской бригады, который начинал все свои рассказы так: «Стало быть, идем мы в атаку...» Мы так и окрестили его «Стало быть...». Я и сейчас стараюсь беседовать с людьми без карандаша и блокнота. Иногда обычная газетная информация, набранная петитом, превращается у художника в рассказ или пьесу...

Бабель показывает на Олешу:

— Юрий Карлович Олеша тоже работал в газете «Моряк» и сейчас не расстается с журналами и газетами.

— «Как вы находите тему?»

— Я скептически отношусь к тем литераторам, ко-

торые берут творческие командировки в поисках тем. Есть выражение — напластование пород. В этом напластовании жизненного материала писатель находит свой пласт. Одни вгрызаются глубоко, другие снимают только верхний слой.

— «Каких писателей вы больше всего любите читать?»

— Хороших, интересных... Но когда раскрываешь книгу, еще ничего не знаешь — хороший писатель ее писал или нет. Толстой заметил, что у Анны Карениной кроме ума, грации и красоты была и правдивость. Кроме таланта, яркого стиля и литературного мастерства хочется, чтобы у писателя в книге была и правдивость.

— «Ваши книги о прошлом, о гражданской войне. Собираетесь ли писать о нашем времени?»

— Собираюсь. Я думаю о нашем времени, о наших людях. Недавно в Париже один французский писатель говорил мне, что он как художник соскучился, истосковался по настоящим героям. Надоело писать о стависских, о молодчиках Кьяппа, о проститутках, о постельных конфликтах, о политических авантюристах. Он предложил одному издателю роман о жизни докеров Марселя. Буржуазный издатель махнул рукой: «Опять забастовки, политическая борьба, голод, нищета, драма жизни... Нет, такая книга мне не нужна. Напишите книгу о Горгулове — убийце президента Франции...». Честный писатель, он отказался писать книгу о белогвардейском выродке. За рубежом люди жадно расспрашивают о нашей стране. Они хотят знать правду о нашей жизни... И мы, советские писатели, должны помочь им в этом...

— «Какой у вас рабочий режим?»

Бабель аккуратной стопкой складывает записки, разглаживает их.

— Как ответить на этот вопрос? В Париже один буржуазный журналист брал у меня интервью. Он быстро, профессионально очень быстро, задавал мне вопросы и поглядывал на часы. «Я тороплюсь, синьор Бабель, мне нужно успеть дать интервью в вечерний выпуск. Зачем так мучительно думать...» И я вдруг понял, что этот молниеносный репортер не подозревая открыл одну из тайн писательского ремесла и рабочего режима писателя — надо все время мучительно думать... Над темой, над словом, сюжетом, над образом... Друзья,— улыбается Бабель,— что вы так старательно записываете все, что я говорю? Вот товарищ Селивановский, ответственный редактор «Литературной газеты», обязательно раскритикует меня за такую литературную консультацию...

Алексей Селивановский — старый друг донецких писателей — откликается из президиума:

— Я тоже, Исаак, Эммануилович, за то, чтобы думать...

— Мучительно думать...

— Мучительно думать,— соглашается Селивановский.

Все дни Исаак Эммануилович работает в семинарах, читает рукописи молодых авторов, ездит на шахты и заводы, беседует с партийными работниками. Ему хочется познакомиться с Пашей Ангелиной, сталеваром Макаром Мазаем, прославленными шахтерами.

Литературные работы участников семинаров служат поводом для раздумий о мастерстве, о роли художника в общественной жизни, о книгах, которые должны помогать людям жить.

Сквозь очки мудро и лукаво поблескивают глаза. Писатель смотрит на нас дружески, отечески, но говорит как равный с равными, без поучительства. Голос спокойный, мягкий, но полон иронии, а вся речь освещена то добрым, то язвительным юмором — не оттого, что человек старается острить, а потому, что он честен и справедлив, хорошо видит достоинства и недостатки, умеет прощать слабости, но едко и горько говорит о глупости, напыщенности и высокомерии.

— Иногда бывает так: обманывают друга, родителей, любимую девушку, жену,— но никогда нельзя обмануть чистый лист бумаги,— говорит Бабель.— Никогда! Как только вы возьметесь за перо и выведете первую строку, лист бумаги заговорит о вас. Я испытываю робость перед чистым листом бумаги...

В те дни я усердно записывал «бабелевскую литконсультацию». Записные книжки пропали, а мысли Бабеля остались навсегда. Он рассказывает о Горьком, которого недавно посетил в Крыму — в Тессели. Чувствуется, что он очень любит Горького. Голос Бабеля, вообще тихий, становится еще тише, сердечней.

— Есть писатели, которые сами по себе, а народ сам по себе. Горький — писатель, который сорадуется и сопечалится человеку,— замечает Бабель.

* * *

И еще один большой литературный вечер. Выступают писатели Москвы, Киева, Ленинграда, Харькова.

Далеко стоит завод «Светлана»,
Русая девчонка далека...—

звонко читает свои стихи Александр Решетов.

Бабель вглядывается в зал, аплодирует. Потом он идет к трибуне и под общий хохот задумчиво повторяет:

— Да, русая девчонка далека...— и поглаживает полысевший лоб.

Бабель читает один из своих рассказов.

* * *

Утверждают, что память — это очень хорошая и нужная книжка. Жаль только, что чернила в ней с годами выцветают.

Я перелистываю пожелтевшие страницы газеты «Социалистический Донбасс» от 5 декабря 1935 года.

Репортерский отчет скупо запечатлел факты. Но в нем есть такие строки:

«В президиум летят десятки записок. Литературная молодежь жадно и живо интересуется всеми видами «оружия» в арсенале писателя...»

«Больше всех «атакуются» Бабель и Олеша...»

«...Особенно восторженно встретила аудитория Олешу и Бабеля, выступавших с чтением своих произведений».

«Аудитория получает от тов. Бабеля острые, запоминающиеся ответы».

Запоминающиеся ответы Бабеля. Автор газетного отчета оказался прав. Они запомнились, сохранились в записной книжке памяти.

В конце сентября 1936 года мы, группа молодых журналистов, возвращались из Ялты на пароходе «Пестель». В Севастопольском порту видим Бабеля. Подошли, поздоровались, напомнили о Донбассе, о декабре тридцать пятого года.

— Я был в Тессели... Все осиротело без Алексея Максимовича...

За год Бабель заметно состарился, чуть желтоватые скулы, за очками грустные, настороженные глаза.

— Как вы себя чувствуете, Исаак Эммануилович? Как ваше здоровье?

— Преотличнейшее... Такое солнце в сентябре, жаловаться грех...

Бабель расспрашивает о людях, с которыми он встречался в Донбассе. Он называет многих по имени и отчеству,— видимо, встречи с ними ему дороги.

— Я рассказывал Алексею Максимовичу о своей поездке в Донбасс. Горький очень интересовался всем, расспрашивал... Ведь он там бывал когда-то.— И голос у Бабеля грустный.— Хорошо было бы съездить туда летом... Может быть, еще удастся...

Здесь, в Крыму, Бабель работал с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном над сценарием «Бежин луг». Эйзенштейн снимает в Ялте этот фильм. Отнюдь не по Тургеневу. Это современная лента.

— Но у Тургенева взято не только название, есть дух тургеневский — ночной простор, поэтичность...

Трудно удержаться от журналистского вопроса:

— Над чем вы работаете, Исаак Эммануилович?

— Я думаю над книгой о Горьком... То она мне видится от обложки до последней строки, то вдруг уходит от меня... Как написать о нем? Сложно, сложно, но думаю...

И еще одна встреча с Бабелем.

Во время войны наши войска заняли небольшой украинский городок Малин на Киевщине. Седая библиотекарша пришла к молодому капитану, командиру батальона, и сказала, что она спрятала часть книг в

подвале, чтобы гитлеровцы не сожгли, не уничтожили, и попросила красноармейцев достать их из подвала.

Бойцы весело и легко вытащили пять или шесть ящиков с книгами, поставили в классной комнате и тут же начали их перелистывать, просматривать, читать.

Пушкин, Лермонтов, Крылов, Шевченко, Коцюбинский, Чехов, Горький, Тычина...

И вдруг среди разных переплетов, обложек один из бойцов достал примятую книжечку с замусоленными страницами.

— «Бабель. «Конармия»,— прочел он вслух.

Подошли товарищи, склонились.

— Это что ж за писатель Бабель?— спросил совсем молоденький красноармеец.— Впервые слышу...

— А кто его знает! Сейчас посмотрим,— ответил тот, кто нашел эту книжечку.

Он громко читал:

— «Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей...»

— Хороший писатель этот Бабель, ей-богу, хороший,— повторил он и с разрешения библиотекарши сунул книжечку в красноармейский мешок.

Измятая, зачитанная, с оттисками многих пальцев, с подклейками, эта книжечка Бабеля побывала в боях, в госпитале, в запасном полку и снова уехала на фронт.

Владимир Канторович

БАБЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ О БЕТАЛЕ КАЛМЫКОВЕ

ВЕЧЕР В «КАМИННОЙ»

На воспоминания об Исааке Эммануиловиче Бабеле я, в сущности, не имею права. Наше знакомство можно назвать шапочным. Раза два-три мы сидели с ним за общим столом, но почему-то застольные разговоры не оставили ни малейшего следа в моей памяти.

Зато мне посчастливилось слышать, как Бабель в узком кругу литераторов читал «Марию». В другой раз весь вечер он рассказывал о Бетале Калмыкове.

Этот последний «вечер с чаепитием» был устроен редакцией одного из толстых журналов в «каминной» писательского дома на улице Воровского.

Исаак Эммануилович рассказывал весь вечер. Не читал, а именно рассказывал. И хотя в руках он дер-

жал листки (или тетрадку), однако в текст, помнится, ни разу не заглядывал и ничего оттуда не читал.

И все-таки мне казалось, что я слушал не изустные рассказы, а по-бабелевски отработанные новеллы, которые автор читал по памяти, наизусть. Мы знаем, Бабель находил слова незаменимые, единственные. Искал эти крупинки золота, как поэт, перебирая тонны словесной руды. Каждое слово стояло в его тексте в своем смысловом, семантическом, ритмическом ряду, и именно там, где и должно было стоять. Никакие рассказчицкие интонации не могли бы ни смягчить, ни усилить впечатления. Может быть, я ошибаюсь, но Бабель не казался мне выдающимся мастером *устного* рассказа. В этом смысле он не стоял вровень с признанными королями этого жанра — назову из его современников хотя бы Новикова-Прибоя. Но, по правде сказать, Бабелю, который создавал один за другим десятки вариантов каждой новеллы, дар изустного рассказа был бы словно ни к чему...

Еще до того, как вечер открыл Всеволод Иванов, кто-то спросил Исаака Эммануиловича: правда ли, что он написал новую книгу — о Бетале Калмыкове?

Бабель ответил неопределенным жестом. Можно было расшифровать его так: написал, но до завершения далеко!

Весь вечер Бабель рассказывал о Бетале Калмыкове (или, как я догадывался, читал наизусть свои новеллы). Правда, утомившись, Исаак Эммануилович попросил кого-то из друзей прочитать отрывок из газеты (судя по формату — из периферийной газеты). Но едва читка закончилась, Бабель снова принялся рассказывать.

Что это было, этот газетный текст? Мы, безусловно,

почувствовали связь между газетным очерком (?) и новеллами Бабеля. Словно прозвучал чистейший звук камертона — и вслед за ним свободные вариации в той же тональности. Газетный очерк нас позабавил: он был стилизован под фольклор. Когда-нибудь мы обнаружим этот затерявшийся номер неизвестной газеты, и я не удивлюсь, если увижу, что знакомый материал озаглавлен примерно так :«Сказание о Бетале Калмыкове». Герой представал пред читателями истинно сказочным батыром, но, к счастью, неотступно звучала юмористическая, чуть ироническая нотка. Она не разрушала образа, но незаметно сводила батыра Бетала с балкарского Олимпа на нашу бренную землю.

Кто был автором газетного очерка?

Кажется невероятным, чтобы И. Бабель, годами не расстававшийся со своими рукописями, а в эти годы особенно скупо доверявшийся печати, согласился под своим именем напечатать, да еще в периферийной газете, один из вариантов какой-нибудь главы будущей своей книги. Напомню, что после «Нефти», опубликованной в 1934 году, писатель за последующие пять лет опубликовал только четыре рассказа (если не считать воспоминаний). Ну, а с другой стороны, разве Бабель стал бы на своем литературном вечере читать вслух чужое произведение о любимом герое? Невероятно.

Думается, к «Сказанию о Бетале Калмыкове», с которым писатель познакомил нас в тот вечер, он все же приложил руку как редактор.

Очевидно, в первичном материале, собранном газетой, Бабель обнаружил крупицы правды, зарождение эпоса.

Исаак Эммануилович прежде всего отделил ценные

злаки от обильных плевел, отсек цветистую лесть, вытравил пошлость, а дальше, увлекшись процессом редактирования, вписывал, наверное, кое-что и от себя. И под рукой мастера на страницах газеты родился красочный образ человека, отнюдь не образцового, но понятного и близкого своему народу, не похожего, впрочем, на праведника из Четьей минеи восточного образца.

Оговорюсь: все, что здесь сказано по поводу услышанного тогда очерка о Бетале Калмыкове,— моя догадка. Но раз уж она высказана, я продолжу поиски самого документа, номера газеты с этими материалами о Бетале Калмыкове.

А вот что не догадка, а достоверное воспоминание. Новеллы, рассказанные Бабелем, и газетный очерк восприняты были нами, слушателями, как единое художественное целое, как доказательство, что замысел *книги* о герое, пленившем воображение писателя, существует не только в его воображении, но уже в какой-то мере — литературная реальность.

Исааку Бабелю снова пришлось выслушивать упреки друзей:

— Когда же мы прочтем рассказанное вами?

— Исаак Эммануилович, ну можно ли держать это в столе?

— Можно,— сухо ответил Бабель.— Эти тетрадки станут на полку, рядом с другими (о тех мы знали по отрывкам, появлявшимся в печати). Пусть постоят. Я к ним еще не раз вернусь.

Позже Константин Паустовский рассказывал нам о двадцати двух вариантах «Любки Казак», переписанных Бабелем от руки, каждый от начала и до конца,

причем переделка не коснулась сюжета; просто появлялись немногие новые слова, менялся ритм некоторых фраз. В середине тридцатых годов мы еще не представляли себе, чем обернется благоговение Бабеля перед словом! Ведь из-за этой трагической страсти, рукописи Бабеля, хотя бы незавершенные, существовали в одном-единственном экземпляре.

В тот вечер Бабеля снова просили не так скупо делиться с читателем написанным.

Исаак Эммануилович привычно отшучивался:

— Зачем расставаться с рукописями? Раз редакции не скупятся на авансы...

Ни одна строка о Бетале Калмыкове не уцелела...

Как известно, антрополог М. М. Герасимов по сохранившимся черепным костям воссоздает облик людей, умерших сотни и тысячи лет назад. В литературе не справиться с такой задачей... по чьим бы то ни было воспоминаниям.

Но новеллы о Калмыкове, невосстановимые в их художественной целостности, были все же *фактом писательской биографии* Исаака Бабеля, фактом литературной истории.

И если это так, то, пожалуй, те, кому посчастливилось некогда услышать из уст писателя несколько новелл о замечательном балкарце, должны бы поделиться с новыми поколениями читателей И. Бабеля тем, что сохранила их память. Дать представление о жанре этой незаконченной и утерянной книги, о внутренней теме новелл, о тональности, в которой они были выполнены. Попытаться восстановить образ главного героя книги, авторскую позицию. И, конечно, прежде всего — передать *впечатления* от рассказанных Бабелем новелл, пронесенные через три с половиной десятилетия.

* * *

Литературный герой бабелевских новелл отнюдь не «зеркальное отображение» своего прототипа, исторического Бетала Калмыкова. Это вообще было бы для Бабеля не характерно,— не случайно же «очевидцы» так трудно воспринимали «Конармию». Писатель Бабель меньше всего копиист, он создает свой художественный мир. Впрочем, при всем своем своеобычии образная вселенная Бабеля выражает многие стороны реальной жизни глубже, пронзительнее других произведений, претендующих на документальность. Бессмысленно искать в нарисованных писателем портретах фотографическое сходство с прототипами, тем более принимать такое сходство за критерий оценки.

Долгие годы Бетал Калмыков был первым человеком в своей небольшой республике — и не только потому, что занимал высокие посты и представлял советскую власть.

Его знали в лицо, звали по имени все балкарцы и кабардинцы — от десятилетних ребятишек до стариков-долгожителей, которых тогда было много и среди балкарцев. Калмыков был первым секретарем обкома ВКП (б), но было в нем что-то и от главы большого рода.

Конечно, в гражданскую войну и в первые годы после нее все было иначе. В 1922 году я оказался в Нальчике в числе первых туристов. В горы нам отсоветовали подниматься, в городе же было и спокойно, и сытно, и дешево. Вот тогда-то я не раз наблюдал, как Бетал Калмыков выезжал по делам в горы. В открытую коляску запрягали пару горячих кабардинских коней.

Кучеру было с ними нелегко справиться, тем более что коленями он придерживал винтовку. Сзади сидел коренастый горец, натянутый, как пружина, не позволявший себе откинуться на подушки (это и был Бетал). На боку в деревянной кобуре висел у него огромный маузер, наготове были еще два штуцера (или обреза). Бетал и его кучер готовы были к любой неожиданности; в бою они, наверное, не дали бы маху. Классовая и политическая борьба, усугубляемая родовыми и племенными распрями, в те годы еще не утихла в горах.

Позднее, в тридцатых годах, Бетал Калмыков благодаря журналистам и литераторам стал особенно популярной фигурой в стране.

Это по инициативе Бетала колхозы Кабардино-Балкарии развели вдоль горных дорог бахчи, посадили ягодники, огороды. Воткнули в землю колышки с дощечками и на них написали крупно:

ПУТНИК! ОТДОХНИ, ПОЖАЛУЙСТА!
ПОДКРЕПИСЬ!
ТЕБЯ УГОЩАЕТ КОЛХОЗ...

(Конечно, не забывали назвать гостеприимного коллективного хозяина.)

Бабель искал признаков будущего в сегодняшнем дне (по собственным словам, он всегда был готов помочь цыпленку разбить скорлупу). Но в то же время нельзя было закрывать глаза на противоречия, таившиеся в этом человеке. К нему, например, приросло шутливое прозвище: «Наш социалистический старейшина рода» и др.

Известно, литератор и дня не проживет без шутки. Но даже за самой едкой, гротескной непременно скрывается какая-то частица жизненной правды или черта человеческого характера, иногда только чахлый росток, глазу, затуманенному восторгом, невидимый... И вправду невидимый? Спустя тридцать лет кабардинский писатель Алим Кешоков опубликовал роман «Вершины не спят». Бетал Калмыков, безусловно, послужил автору прототипом при создании образа «головного журавля» Кабардино-Балкарии тридцатых годов — Инала Маремканова. В прошлом Инал — легендарный революционер, в романе — человек, упивающийся властью, нетерпимый, подозрительный, крушивший всех стоявших на его пути. «Кто против меня, тот, значит, и против новых порядков,— поучает Инал своего помощника, выполняющего функции «меча карающего» в автономной республике,— вот тебе и метод в руки... Хороши любые средства».

Не может быть, чтобы Бабель, зная своего друга долгие годы, готов был втиснуть всю его человеческую сущность в одну из простейших, одночленных формул. Не мог он не видеть, что Беталу, этому стойкому мечтателю и неутомимому борцу за будущее, не чужды ни противоречия, ни пережитки, что у него властная натура и что страсти кипят в его душе.

Новеллы о Бетале Калмыкове написаны после «Нефти», рассказа, признаваемого переломным в творчестве писателя. Бабель говорил в те годы И. Эренбургу, что прежде писал чересчур цветисто, злоупотребляя образами, что теперь стремится к большой простоте. Но, очевидно, намечавшийся путь не был прост, однозначен. Бабель искал новых жизненных впечатлений повсюду. Однако то, что мы слушали в «каминной»

Дома литераторов, было ближе к прежней прозе Бабеля, чем к тому, что намечалось в «Нефти».

Литературный герой новой книги предстал пред нами в романтическом обличье и был, на первый взгляд, свободен от кое-каких противоречий, явно выраженных в его прототипе.

Но вот что примечательно. Восприняв на слух тридцать пять лет назад несколько новелл из уст Бабеля, я запомнил их (точнее — свои тогдашние впечатления), тогда как за эти годы, насыщенные событиями, перезабыл многое даже из того, что повлияло на собственную мою судьбу.

Как полнее передать читателю эти *впечатления*, пронесенные сквозь целую эпоху? Я расскажу две новеллы, услышанные в тот вечер от Бабеля, такими, какими их сохранила память.

Литераторы не придерживаются обычая дипломатов, которые по свежим следам записывают «для истории» свои беседы с государственными деятелями. Со времен Гуттенберга рукописи создают, чтобы их размножать на печатных станках для читателей. Кто из нас на вечере в «каминной» сомневался, что рано или поздно увидит эти новеллы в книге Бабеля?.. Конечно, запись, даже если бы она была сделана в тот самый вечер, когда мы слушали писателя, все равно не сохранила бы для потомства подлинного произведения Исаака Бабеля. Зато сколько бы ожило подробностей, сколько бы сохранилось бесподобных, неповторимых словечек Бабеля и примеров той тончайшей оркестровки произведения, в которой он не знал себе равных.

Я не записал новеллы ни в тот вечер, ни позднее. Мало того — не раз и не два рассказывал их в той об-

становке, среди тех людей, для которых слова, услышанные мною некогда из уст Бабеля, звучали как сказка. А каждый рассказчик знает, что много раз пересказанный сюжет, взятый даже из собственной жизни или из своего произведения, непроизвольно меняется, обрастает новыми подробностями...

Обо всем этом я помню. Догадываюсь, что спорна сама попытка передать (через столько лет!) впечатление от рассказов Бабеля. Но друзья подсказывают, что нет иного пути помочь читателю представить себе, какой была задумана книга о Бетале Калмыкове, книга, которой так и не суждено было стать «фактом литературы».

РАЗБОЙНИК ИСМАИЛ КАПИТУЛИРУЕТ

— Поедем в горы? — предложил Бетал Калмыков Бабелю.— Милиционеры выследили наконец Исмаила-разбойника[1]. Он засел в своем убежище на неприступной скале. Двоих ранил, отстреливается. Его обложили, как волка, и надежд на спасение у него не осталось. Не Шамиль — тот перепрыгнул, как говорят, через шесть рядов солдат, окруживших его саклю в Гимринском ущелье... Утром позвонили из района, одумался Исмаил. Крикнул сверху: сдаст оружие. Но только Беталу, в собственные руки. И еще: пусть Бетал поклянется, что Исмаила никто не унизит. Будут судить,

---

[1] Имена всех действующих лиц, кроме Бетала Калмыкова, как и географические названия, кроме Нальчика, я не запомнил. Пришлось подменить их произвольными именами и названиями.— *В. К.*

пусть расстреляют, но чтобы его, безоружного, никто рукой не коснулся... Гордый, что скажешь? Придется брать в плен разбойника Исмаила. Поедем?

Вместе с Бабелем-рассказчиком мы пережили его радость: он станет свидетелем фантастической сцены — разбойник выбрал секретаря обкома, чтобы сдать ему оружие! А на дворе — тридцатые годы!

Романтическая тема стала раскрываться уже в пути. Бетал разговорился о своем бунтарском прошлом. Оказывается, до революции он одно время скрывался в горах, был «социальным разбойником».

— Вроде вашего Дубровского, что ли... Мстил князьям, богачам. Добычей делился с бедняками. И ведь ни один меня не выдал, а?

И спустя некоторое время:

— Когда это было! Правильного пути еще не видел. Узнал его позже.

А про бандита, который соглашался сдаться в плен ему одному, Бетал сказал так:

— Этот Исмаил шкуру спасал — старые преступления его раскрылись. А в горах он сидел смирно. Людей не убивал. Ну, скотину похищал... колхозную, это так.

И добавил со вздохом, в котором прозвучало, однако же, не одно только осуждение:

— Люди из ближних селений знали, наверное, где он скрывался. Многие. Не выдали... А кто им Исмаил? Вот уж не друг, не защитник. На их шее сидел. Не выдали...

В райцентре к Беталу в машину сели вооруженные люди — уполномоченный со своим помощником. Поднялись еще выше в горы. За Агарты колесная дорога превратилась в конную тропу.

Пошли дальше пешком. И вскоре услышали: ударил одиночный выстрел, а в ответ — стрельба вразнобой, из нескольких ружей.

Старшина встретил Бетала неподалеку от засады.

— Огрызается! Нашего Асхада ранил в руку. Легко. Третьего уже.

Ничего не скажешь, Исмаил — горец, выбрал логовище с умом. От более высоких скал, с которых мог бы ему угрожать противник, его защищал длинный выступ. К расщелине, где он прятался, откуда из-за камня прицеливался, стрелял, шел крутой подъем — он был целиком под обстрелом. Семь милиционеров расположились кто где, веером, выбрав себе защиту за камнями и уступами. Бетала Калмыкова отвели в сторону,— чтобы достать его из ружья, разбойнику пришлось бы на полкорпуса высунуться из своего убежища. Он сразу же оказался бы на мушке у всех семерых стрелков...

Милиционеры хором повторяли какие-то слова, несколько раз прозвучало имя Калмыкова. Видимо, передавали Исмаилу, что условия капитуляции приняты, Бетал здесь.

Откричались милиционеры и смолкли. Тишина пришла в горы, гулкая, настороженная.

Наконец из ущелья донесся крик Исмаила-разбойника.

— Назначает встречу на полпути,— объяснил Бабелю один из сопровождающих и кивнул в сторону каменной россыпи, круто подымавшейся к самому убежищу.

— Рискованно, товарищ начальник,— сказал по-русски уполномоченный.

— В каждой игре свои правила,— ответил Бетал. Вынул из кармана и отдал ему револьвер.

Распорядился:

— Тот, у кого голос позвонче, крикни: пусть Исмаил выйдет из ущелья сразу, как меня увидит. Пусть спускается навстречу.

Парень, присевший за крупным камнем, прокричал приказ Бетала дважды.

Я помню: дойдя до этого места, Бабель выдержал долгую паузу. На этот раз он подчинился неписаным законам устного рассказа.

Бетал, собранный, наружно спокойный, ждал дальнейшего развития событий.

И снова вокруг тишина.

О чем он там раздумывает, Исмаил? Молится, что ли?

Из расщелины донесся короткий возглас. Уполномоченный пополз к обстреливаемой зоне. Милиционеры взяли на мушку темную нору — отверстие, зиявшее между скалами.

Бетал сделал несколько решительных шагов к подъему. Виден он преступнику? Еще шаг, другой,— теперь-то Исмаил наверняка разглядел Калмыкова. Что же он медлит?..

И в то же мгновенье на темном фоне волчьей норы обозначилась фигура рослого горца. В ладонях, поднятых на уровень груди, он бережно, как чашу с питьем, нес обрез.

У свидетелей и участников этой рискованной игры вырвался из груди вздох облегчения.

Бетал и Исмаил шли навстречу друг другу.

На крутой тропе меж рассыпанных камней приро-

да позаботилась сохранить ровную площадку. Не для того ли, чтобы эта сцена, немыслимая, казалось, в наше время, еще больше напоминала военную капитуляцию! Бетал достиг этой площадки первым и ждал, пока на нее ступит Исмаил,—где ж это видано, чтобы побежденный возвышался над победителем? Вот они замерли лицом к лицу. Вот Исмаил произнес какие-то слова. Бетал ответил. Исмаил протянул обрез. Бетал небрежно взял его одной рукой, повернулся и стал первым спускаться с кручи; побежденный следовал за ним. Навстречу уже карабкались, спешили милиционеры.

Один из них схватил Исмаила за руку, другой хотел ощупать его карманы.

Бетал отдал сердитую команду, милиционеры подчинились. Теперь разбойник шел между рядами тех, с кем вел непрерывный бой двое суток.

Был он очень бледен, но гордо крутил свой ус.

Однако Бабель не поставил точку после эпизода с капитуляцией. Новелла имела продолжение. Необходимое для подводного движения сюжета.

Бетал с Бабелем и Исмаил под конвоем милиционеров подошли к машине (шоферу удалось подогнать ее поближе к месту событий). Бабелю Бетал указал на переднее место, рядом с шофером. Сам же сел сзади, рядом с разбойником. Уполномоченный хотел было втиснуться третьим, но Калмыков приказал ему остаться на месте, обыскать ущелье.

Правда, правый карман у Бетала снова оттопырился, и рука была наготове.

Вот что произошло по пути в город.

Ехали по берегу шумной, разлившейся реки.

Внезапно увидели: тонет буйвол. Видно, оступился, сошел с брода, сильное течение сбило животное с ног, а тяжелое ярмо не отпускало, не давало всплыть. Возница суетился, старался сбить ярмо, но силы его были на исходе. Буйвол захлебывался.

Шофер притормозил машину. Исмаил и Бетал еще на ходу выскочили на дорогу и бросились на помощь земляку. Так в каждом из трех горцев сработал инстинкт, чувство, воспитываемое жизнью в горах, передаваемое из поколения в поколение, как наказ мудрых и справедливых: «Терпящему бедствие — помоги!»

Двое сильных мужчин быстро справились с тем, что было не под силу старику. И вот уже спасенный, присмиревший буйвол стоит на прибрежных камнях.

Теперь у колхозника нашлось время оглянуться на тех, кто помогал ему. Справа от себя он увидел Бетала Калмыкова,— кто же не знает его в горах? Кто не искал у него помощи, не испытал на себе его заботы? Колхозник произнес слова благодарности. Только тогда он оглянулся и на второго спасителя, того, что стоял слева,— и окаменел! Это же Исмаил! Как многие местные люди, он конечно же знал разбойника в лицо. Что это? Два смертельных врага соединились, чтобы помочь ему в беде?.. Оправившись от изумления, старик из селения Науруз так же церемонно поблагодарил разбойника.

Дальше ехали без приключений. В Нальчике, у здания тюрьмы, машину остановили, преступника сдали дежурному. На прощанье Бетал кивнул ему. Исмаил наклонил голову и слегка прижал руки к груди.

БЕТАЛ, БАТЫРБЕК И ПОГОРЕЛЬЦЫ

Бетал снова увез Бабеля в горы — в районе праздновали открытие нового клуба.

В райцентре Бетала ожидала толпа празднично одетых мужчин. Чуть подальше стояли женщины с детьми.

Бетал вышел из машины. Его окружили, здоровались с ним, а он расспрашивал о здоровье родственников,— казалось, секретарь обкома знает всех, может назвать чуть не каждого по имени, помнит, у кого сколько сыновей, какие в семье радости и беды. Такое встретишь только у малых народов на Кавказе, да и то не всегда.

Расставаясь, Бетал пригласил всех на открытие клуба.

К дому районного секретаря Батырбека гости из города пошли пешком.

Как всегда, за столом собралось великое множество людей. И все были накормлены, обласканы хозяйкой, ее пожилыми родственницами.

В клуб отправились засветло. Бетал был весел, перебрасывался словечком-другим с встречными пешеходами — со всех концов селения народ тянулся к клубу. Новое здание радовало глаз. От него еще вкусно пахло свежим тесом, красками.

Бетал обошел клуб кругом. Душа его была полна гордости: кто, как не он, твердил с таким постоянством, что зажиточная жизнь мерится не пудами, аршинами и рублями, а культурой! Но к его радости примешивалось и чувство ребенка, когда тот любуется новой игрушкой.

Бетал со спутниками уже приблизился к госте-

приимно открытым дверям клуба, люди, собравшиеся здесь, отступили, чтобы пропустить почетного гостя...

И вдруг в один миг Бабель-рассказчик разрушил нарисованную им же идиллию, этот порыв всеобщего прекраснодушия. В пейзаже, нарисованном с помощью одних только звонких, брызжущих радостью, ярких и чистых красок, внезапно проступило темное пятно — неожиданно заявил о себе посланец из мира не столь благополучного. Этим посланцем стала женщина в черном деревенском платье до пят; темный платок на голове покрывал, по обычаю, и волосы, и лоб, и шею, и подбородок — и все же не мог скрыть искаженные смертельной обидой черты лица. Женщина бросилась наперерез начальству, с губ ее сорвался сдавленный крик:

— Бетал!

Тотчас же перед ней вырос молодой горец в кубанке, за ним другой. Они преградили путь женщине, пытаясь оттеснить ее и вообще замять этот неприятный, неприличный, как им казалось, инцидент.

Бетал легко мог сделать вид, что ничего не приметил, и войти в клуб, чтобы не портить настроение себе и слушателям его сегодняшней праздничной речи.

Я вспоминаю, что в рассказе Бабеля, когда он дошел до этой сцены, вдруг прозвучало короткое, как удар хлыстом, балкарское слово. Бетал приказал, и добровольные слуги порядка послушно расступились.

— Что тебе, женщина? — спросил Калмыков.

Она говорила жестоко, страстно. В горле звучала тяжкая обида, но унижения ее душа не приняла, врожденное достоинство не изменило ей и теперь.

Рассказчик заставил нас в эту минуту оглянуться

на начальников, опытных церемониймейстеров праздпества,— ведь это их обличала женщина!

Батырбек и другие так и застыли на месте, где их застала неожиданность. Они молчали. Не переглядывались друг с другом. Казалось, даже не слушали, а просто присутствовали. Лица их были лишены всякого выражения.

Позже Бабель узнал, что колхозница жаловалась на глухоту и черствость людей. Сгорел дом, погибло все имущество. Третий день с больным мужем они ютятся в хлеву. Ни одна душа не пришла на помощь. Начальники не откликнулись на беду, не помогли. Где справедливость?

Бетал слушал женщину. Ярость вскипала в нем. Батырбек и его помощники знали Бетала, его характер. Они не оправдывались. Но если бы вскрыть в ту минуту грудную клетку Батырбека, вряд ли сердце обнаружилось бы там, где оно бьется у всех людей.

Женщина высказала все и умолкла, ожидая решения.

Выждав минуту и убедившись, что колхознице нечего больше добавить, Бетал произнес спокойно, твердо:

— Возвращайся к мужу. Все будет по справедливости.

И, круто развернувшись, шагнул к двери клуба. Местное начальство потянулось за ним. Не лица у них были — маски, безликие, застывшие.

Когда закончилось торжественное заседание, Калмыков, Батырбек и Бабель спустились вниз, к машине.

— Из какого селения та женщина? — коротко бросил Бетал.

Выслушав ответ, приказал:

— Едем к погорельцам.

— Поздно, товарищ Калмыков! — взмолился Батырбек. — Дорога плохая, машина будет скользить. Опасно!

— Садись в машину. Зло выслеживают по горячему следу.

— Бетал! — сделал еще одну попытку секретарь райкома. — Все будет как надо, ошибку исправим, виновных накажем...

— Садись с шофером, указывай дорогу!

Въехали в селение Сораби в темноте, разыскали свежее пожарище.

Чистый горный воздух пьешь, как нектар. Здесь прогорклый воздух отдавал дымом, бедой...

Дом сгорел дотла. Он стоял на отлете — в селении больше никто не пострадал. На задах сгоревшего дома лепился не то сарай, не то хлев для баранты. Из-под его ворот пробивался слабый свет.

Трое приезжих вошли вовнутрь. В каганце чуть мерцал огонек. У задней стенки, прикрытый потертой буркой, лежал, вытянувшись во весь рост, больной хозяин сгоревшего дома. Голову его подпирал ополовиненный мешок с кукурузным зерном. Лицо, заросшее седой щетиной, было обращено к вошедшим. Из-под бурки торчали голые ноги, обутые в старые, все в трещинах, калоши. У изголовья неподвижно стояла жена. Глаза ее горели неистовой верой во всемогущество Бетала.

Бабель оглянулся. На стенках сарая висела старая упряжь. По углам валялись лишь тряпье да ржавые ведра. Хозяевам ничего не удалось спасти от огня.

Бетал произнес приветствие и молча слушал, пока погорельцы отвечали на вопросы Батырбека.

Вдруг Бетал произнес:

— Все будет хорошо, люди!

Попрощался и вышел к машине. Скомандовал:

— В райком!

В пути никто не произнес ни слова.

Молча вышли из машины, молча прошли к кабинету секретаря. Бетал с Батырбеком сели друг против друга, лицом к лицу, и в ярости стали стремительно бледнеть...

...Эти бледнеющие от ярости двое мужчин врезались в мою память навсегда — уверен, запомнились подлинные слова Бабеля!

Бетал испепелял Батырбека взглядом, но и тот не опускал глаз; они выражали стойкость прямо-таки огнеупорную. Шел поединок. Друг другу противостояли сильные, страстные мужчины, сгустки воли, вместилища страстей. Слабых Бетал не терпел в своем окружении.

Вдруг Калмыков со страшной силой ударил кулаком по столу:

— Позор!

И спустя некоторое время снова прозвучало единственное слово (это многословный Бетал!):

— Позор!

Дважды повторенный, этот возглас разрядил грозовую атмосферу. Двое мужчин еще помолчали, теперь, кажется, во взаимном согласии.

Наконец Бетал встал. Голос его звучал обыденно, даже тускловато:

— В пятницу вернусь (события происходили в воскресенье). У Хазрета будет стоять новый дом. В нем будет все, что нужно колхознику. Балкарцы увидят:

10 Заказ № 484

если беда посетила одного — на помощь приходит большая колхозная семья. Всё. Я вернусь в пятницу.

На обратном пути в Нальчик Бетал, как обычно, шутил, рассказывал, но ни разу не коснулся событий в Сораби. У Бабеля на языке вертелся вопрос: как можно поставить дом за четыре дня? Вопрос так и не был задан.

В пятницу Бабель ждал вестей с самого утра. Бетал позвонил в полдень, сказал, что сегодня и в субботу он занят, но в воскресенье они непременно поедут в Сораби.

В назначенный день Калмыков с Бабелем действительно уехали в горы. В райцентре к ним в машину сел веселый, разговорчивый, краснощекий Батырбек.

Сораби удивил на это раз многолюдством. Нелегко было в машине проехать по главной улице селения и совсем уже трудно узнать недавнее пожарище. На его месте стоял новенький, с иголочки, дом-пятистенка под железной кровлей. Добрая сотня мужчин наводила последний глянец, вязала изгородь, выносила со двора мусор, горелую землю. Из трубы валил дым. В сарае, недавно служившем пристанищем людям, мычала корова.

Вслед за Беталом и Батырбеком Бабель поднялся по ступенькам и вошел в дом. Посредине избы, словно трон, возвышалась городская железная кровать с четырьмя медными шишками.

На ней в той самой позе, в какой его застали неделю назад, лежал больной. Под ним была добротная бурка, голова покоилась на сатиновых подушках, а ноги в грубошерстных носках прочной вязки были обуты в новенькие калоши.

Бетал поздоровался с Хазретом и его женой. Вы-

слушал от хозяина слова благодарности, произнесенные с чувством достоинства, которое редко покидает горцев. И вышел наружу.

Люди бросили работу, обступили крыльцо.

Бетал сказал народу горячее слово:

— Так будет в новой жизни всегда! Большая колхозная семья придет на помощь любому сыну и дочери, когда их постигнет беда. Люди научатся смягчать горе земляков. Могучая сила у народа. Но каждый должен помнить; хочешь делать добро — не откладывай, поспеши! Сверши его в первый же черный день, выпавший на долю земляка!

Бетал говорил в тот раз долго.

Народ внимал ему в полном молчании.

* * *

Рассказывая по памяти две новеллы Исаака Бабеля о Бетале Калмыкове, я старался придерживаться их сути, не пытаясь воспроизвести «подробности»,— за давностью лет подлинные я мог позабыть и взамен домыслить новые.

«Воспоминания о новеллах» как бы облечены в форму элементарного очерка, автор которого отказывает себе в праве даже на собственное мнение об описываемых событиях, тем более на любой вымысел.

Конечно же я запретил себе стилизацию, расцвечиванье текста «под Бабеля»,— это было бы отвратительно!

Правда, внимательный читатель, наверно, обнаружит считанные выражения, резко выпадающие из сухого, чуть ли не протокольного, стиля. Но я крепко убежден, что эти слова принадлежат самому Бабелю:

они навсегда врубились в мою память. Такими я их услышал.

Как кошмар преследует меня мысль, что кто-либо из читателей воспримет две последних главки воспоминаний за пересказы произведения Исаака Бабеля, за попытку имитировать его стиль!

Тогда как смысл работы, проделанной памятью, в том, чтобы истинные ценители прозы Бабеля, узнав теперь новые исторические и литературные факты о том, как писатель трудился над книгой о Бетале Калмыкове, и познакомившись с впечатлениями одного из слушателей, смогли бы *вообразить*, как эти новеллы могли прозвучать в устах их творца.

Леонид Утесов

МЫ РОДИЛИСЬ ПО СОСЕДСТВУ

Написать о Бабеле так, чтобы это было достойно его,— трудно. Это задача для писателя (хорошего), а не для человека, который хоть и влюблен в творчество Бабеля, но не очень силен в литературном выражении своих мыслей.

Своеобразие Бабеля, человека и писателя, столь велико, что тут не ограничишься фотографией. Нужна живопись, и краски должны быть сочные, контрастные, яркие. Они должны быть столь же контрастны, как в «Конармии» или в «Одесских рассказах».

Быт одесской Молдаванки и быт «Первой Конной» — два полюса, и они оба открыты Бабелем. На каких же крыльях облетает он их? На крыльях романтики, сказал бы я. Это уже не быт, а если и быт, то романтизированный, описанный прозой, поднятой на поэтическую высоту.

Так почему же все-таки я пишу о Бабеле, хоть и сознаю свое «литературное бессилие»? А потому, что я знал его, любил и всегда буду помнить.

Это было в 1924 году. Мне случайно попался номер журнала «Леф», где были напечатаны рассказы еще никому не известного тогда писателя. Я прочитал их и «сошел с ума». Мне словно открылся новый мир литературы. Я читал и перечитывал эти рассказы бесконечное число раз. Кончилось тем, что я выучил их наизусть и наконец решил прочитать со сцены. Было это в Ленинграде. Я был в ту пору актером театра и чтецом. И вот я включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе».

Успех был большой, и мечтой моей стало — увидеть волшебника, сочинившего все это. Я представлял себе его разно. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль» — белобрысого, курносого, коренастого парнишку. То вдруг нос у него удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, на верхней губе появлялись тонкие усики, и мне чудился Беня Крик, вдохновенный иронический гангстер с одесской Молдаванки.

Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров (это было уже в Москве, в театре, где играет сейчас «Современник») я выступал с рассказами Бабеля. Перед выходом кто-то из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сообщил:

— Знаешь, кто в театре? Бабель!

Я шел на сцену на мягких, ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля-Балмашева, Бабеля-Крика. В зале не было ни того, ни другого.

Читал я хуже, чем всегда. Рассеянно, не будучи в

силах сосредоточиться. Хотите знать правду? Я трусил. Да, да, мне было по-настоящему страшно.

Наконец в антракте он вошел ко мне в гримировальную комнату. О воображение, помоги мне его нарисовать! Ростом он был невелик. Приземист. Голова на короткой шее, ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища намного длиннее нижней. Будто скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова! Голова у него была удивительная! Большая, откинутая назад. И за стеклами очков — большие, острые, насмешливо-лукавые глаза.

— Неплохо, старик,— сказал Бабель.— Но зачем вы стараетесь меня приукрасить?

Не знаю, какое у меня было в это мгновение лицо, но он улыбнулся.

— Не надо захватывать монополию на торговлю Одессой! — Бабель лукаво поглядел на меня и расхохотался.

Кто не слышал и не видел смех Бабеля, не может себе представить, что это было такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который бы смеялся, как он. Это не был раскатистый хохот — о, нет! Это был смех негромкий, но совершенно безудержный. Из глаз его лилися слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и снова начинал беззвучно хохотать.

Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом, а не тем, что происходило на сцене.

И до чего же он был любопытен! Любопытными были у него глаза, любопытными были уши. Он все хотел видеть, все слышать.

В вечных наших скитаниях мы как-то встретились с ним в Ростове.

— Ледя, у меня тут есть один знакомый чудак, он ждет нас сегодня к обеду,— сообщил мне Бабель.

Чудак оказался военным. Он был большой, рослый, и еда у него была под стать хозяину. Когда обед был закончен, он предложил:

— Пойдемте во двор, я вам покажу зверя.

Действительно, во дворе стояла клетка, а в клетке из угла в угол метался матерый волк. Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев, принялся злобно дразнить зверя, приговаривая: «У, гад, попался? Попался?..»

Мы с Бабелем переглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина... И чего только не было в этих глазах! В них были и жалость, и негодование, и любопытство. Но больше всего было все-таки любопытства.

— Скажите, чтобы он прекратил,— прошептал я.

— Молчите, старик! — сказал Бабель.— Человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно.

В искусстве Бабеля мы многим обязаны этому любопытству. И любопытство стало дорогой в литературу. Бабель пошел по этой дороге и не сходил с нее до конца. Дорога шла через годы гражданской войны, когда величие событий рождало мужественные, суровые характеры. Они нравились Бабелю, и он не только «скандалил» за письменным столом, изображая их, но, чтобы быть достойным своих героев, начал «скандалить на людях». Вот откуда взялся «Мой первый гусь». Вот где я верю ему. Тяжело, но любопытно. Любопытство его, подчас жестокое, всегда было оправданно. Помните, что происходило в душе Никиты Балмашева перед тем, как товарищи сказали ему: «Ударь ее из винта»?

«И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я хотел спрыгнуть с вагона и себя кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта».

Вот оно, оправдание жестокого поступка Балмашева. «Казаки имели к нему сожаление»! И я им сочувствую, и всякий, кто жил в то романтическое, жестокое время, поступил бы так же.

Если же вы хотите знать, что такое бабелевский гуманизм, вчитайтесь в рассказ «Гедали», но только не думайте, что в нем разговаривают два человека — Гедали и Бабель. Нет. Это диалог писателя с самим собой.

« — ...я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории,— говорит в этом рассказе Гедали.— Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни удовольствие. «Интернационал», пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом,— ответил я старику,— и приправляют лучшей кровью...»

Нет, нет, не верю. Не нужна Бабелю приправа из лучшей крови, как не нужна ему матерщина и зарубленный саблей гусь («Мой первый гусь»). «Человек, пострадавший по ученой части...», он противится жестокости всем своим существом. Казаки чуждаются его, и это вынуждает его стать таким, как они... «Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло». Вот правда Бабеля.

С 1917-го по 1924 год Бабель, по совету Горького, «ушел в люди». Это был уход из дома, и он снова очу-

тился в Одессе, пройдя длинный путь. Как у всякого одессита, у Бабеля была болезнь, которая громко именуется «ностальгией», а проще — тоской по родине.

Есть очень милый рассказ об этом.

В одном маленьком городишке жил человек. Был он очень беден. И семья у него, как у большинства бедняков, была большая, а заработков почти никаких. Но однажды кто-то сказал ему:

— Зачем ты мучаешься здесь, когда в тридцати верстах отсюда есть город, где люди зарабатывают сколько хотят? Иди туда. Там ты будешь зарабатывать деньги, будешь посылать семье, разбогатеешь и вернешься домой.

— Спасибо тебе, добрый человек,— ответил бедняк.— Я так и сделаю.

И он отправился в путь. Дорога в город, куда он направился, лежала в степи. Он шел по ней целый день, а когда настала ночь, лег на землю и заснул. Но чтобы утром знать, куда идти дальше, он вытянул ноги туда, где была цель его путешествия. Спал он беспокойно и во сне ворочался. И когда к концу следующего дня он увидел город, то он был очень похож на родной его город, из которого он вышел вчера. Вторая улица справа была точь-в-точь такая, как его родная улица. Четвертый дом слева был такой же, как его собственный дом. Он постучал в дверь, и ему открыла женщина, как две капли воды похожая на его жену. Выбежали дети — точь-в-точь его дети. И он остался здесь жить. Но всю жизнь его тянуло домой.

Вот что такое эта самая ностальгия.

— Старик,— сказал мне как-то Бабель,— не пора ли нам ехать домой? Как вы смотрите на жизнь в Аркадии или на Большом Фонтане?

А когда мы хоронили Ильфа, он стоял рядом со мной у гроба, так же, как когда-то у гроба Багрицкого.

— Вам не кажется, Ледя, что одесситам вреден здешний климат? — спросил он меня. О том же он говорил Багрицкому, говорил Паустовскому. Он всегда звал одесситов домой.

Решительно, ностальгия — прекрасная болезнь, от которой невозможно и не нужно лечиться.

И когда после «Конармии» появились «Одесские рассказы», это был тоже очередной приступ ностальгии. Герой Бабеля — Беня Крик, прототипом которого был Мишка Япончик, стал героем вполне романтическим. Это неважно, что «подвиги» Япончика были весьма прозаичны. В них, конечно, можно было увидеть и смелость, и, если хотите, твердую волю, и умение подчинять себе людей. Но романтики, той самой романтики, которая заставляет читателей «влюбляться» в Беню Крика, конечно же у Мишки Япончика не было. Зато талант писателя-романтика был у Бабеля, и он поднял своего героя на недоступную для того высоту. И он вложил в уста Арье Лейба слова о Бене: «Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле». Вот он какой, Беня Крик. Он налетчик. Но он налетчик-«поэт». У него даже сигнал на машине с музыкой из «Паяцев». Ну до чего же это здорово, честное слово! Сколько бы раз ни перечитывал рассказы о нем, я волнуюсь, хоть и знаю, что Мишка Япончик был далеко не столь романтичен.

Бабелю противны серые люди. Я уже говорил, что он любит не фотографию, а живопись, причем яркую, сочную, впечатляющую. Вспомните Афоньку Биду,

Конкина, Павличенко, Балмашева. И рядом с ними — Гедали, Любку Казак, Менделя Крика, Беню, его брата Левку Быка. Когда я представляю себе всех их, меня охватывает какой-то буйный восторг, мне хочется петь.

И, наконец, Бабель-драматург. «Закат»! Ка́залось бы, опять эта вековечная тема «отцов и детей». Но как она повернута! Дети, воспитывающие отца. И как воспитывающие! И снова портреты: Мендель, Беня, Левка, Двойра, Нехама, Боярский. Любую роль, даже женскую, я был бы готов сыграть.

Пьеса шла давно, во Втором МХАТе, и мне кажется, что она не до конца была понята исполнителями. Были удачи, но были и просчеты. Бабель говорил мне, что он мечтал о таком распределении центральных ролей, в идеале (это было еще до спектакля в МХАТе): Мендель — Б. С. Борисов, Нехама — Блюменталь-Тамарина, Двойра — Грановская, Беня — Утесов, Левка — Надеждин, Боярский — Хенкин, Арье Лейб — Петкер. Но это были мечты, которым не суждено было осуществиться.

Бабель написал значительно больше, чем мы знаем, но его рукописи, к великому огорчению, не были обнаружены.

Автобиографию Бабель начинает так: «Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке». Если бы я писал свою автобиографию, то она начиналась бы так: «Родился в 1895 году в Одессе, рядом с Молдаванкой (Треугольный пер.)». Значит, мы родились по соседству, рядом росли, но, на мою беду, в детстве не встретились, а познакомились только через тридцать лет в Москве. Ну что ж, спасибо судьбе и за это.

Бабель был огромный писатель. Наследство его —

это одна книга, в которую входят «Конармия», «Одесские» и другие рассказы и две пьесы. Но мало ли больших писателей, оставивших нам всего лишь одну книгу и навсегда вошедших в литературу? Ведь в искусстве, как и в науке, важно быть первооткрывателем. Бабель им был. И подумать только, что он и сейчас мог бы быть среди нас. Но его нет. И хочется сказать об этом фразой из «Кладбища в Козине»:

«О, смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

Виктор Шкловский

ЧЕЛОВЕК СО СПОКОЙНЫМ ГОЛОСОМ

Познакомился с Исааком Бабелем в Петербурге, который тогда только что переименовали в Петроград, в редакции журнала «Летопись». Журнал был очень толстый, в зеленой обложке. По случаю военного времени журнал печатался на очень рыхлой, плохой бумаге.

Редактор, недавно вернувшийся в Россию Горький, по нашим тогдашним понятиям был стариком — ему уже было под пятьдесят лет.

Светлогустой ежик волос начинал седеть, голубые глаза были еще молоды. Но он слегка горбился, хотя и был еще очень силен физически, неутомим, и если не писалось (я говорю про беллетристику), то отвечал на бесчисленные письма.

Он не мог отсутствовать у своего стола в эти урочные часы, потому что к нему в это время должно было

приходить вдохновение. Горький в это время писал «Детство», был в новом литературном взлете. Впереди были книги «В людях» и «Мои университеты» и замечательнейшая книга о Льве Толстом, «Егор Булычов», «Клим Самгин».

«Летопись» помещалась где-то на Петроградской стороне. Комнаты редакции большие, высокие, с зелеными обоями, с портьерами и с тюлевыми занавесками на окнах, с большими, не заставленными вещами письменными столами, тихо, удобно.

Сюда приходили писатели: Чапыгин, Федор Гладков, Михаил Пришвин, Александр Блок, Валерий Брюсов, очень молодая и очень красивая начинающая журналистка Лариса Рейснер, солдат автомобильной роты Владимир Маяковский. В автомобильную роту Маяковского устраивал сам Горький, через капитана Крита, близкого знакомого.

Журнал был антивоенный. Печатались в нем, но не часто, большевики. Ходили в него как жрецы, которые одни только знают тайны и прошлого и будущего, умные люди без будущего — Базаров, Суханов.

Здесь я и познакомился с Бабелем.

Сам я был одет в кожаные штаны, кожаную куртку. Служил в броневом дивизионе; не то чтобы верил в скорый приход революции, но видел ее боковым зрением; ведь еще в 12-м году Велимир Хлебников напечатал в журнале «Союз молодежи» разговор учителя с учеником, таблицу, в которой были обозначены годы крушений великих империй, и кончалось все строкой: «Некто в 1917 году».

Маяковский ждал революцию ближе. Он писал: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Горький очень любил Владимира Владимиро-

вича, очень ему верил. Маяковский к Алексею Максимовичу тогда относился восторженно — ведь он знал его с кавказского детства по добрым слухам и хорошим делам.

Бабель был низкоросл, широкогруд, одевался очень скромно; он рано полысел; говорил всегда тихим голосом.

Имел на друзей, знакомых невероятное влияние. Ему повиновались все, даже те женщины, которые его любили. Подобного случая магнетического влияния я не знаю.

Бабель находился в состоянии подземного роста,— так с осени растения закладывают в корневище побег и ждут солнца.

Он напечатал в «Летописи» новеллу о том, как две дочери геолога, уехавшего на Камчатку, живут сами по себе. Мать занята. Одна из дочерей забеременела. Другая, постарше, собирается сделать ей аборт домашними средствами. Все было написано просто и страшно; обходится все благополучно.

Мать пришла домой, пишет безнадежное письмо на Камчатку. На Камчатку не было воздушного сообщения. Камчатка существовала как бы только в географии.

Горький очень верил Бабелю, удивлялся его точному мастерству.

Для того чтобы удивиться, надо быть талантливым человеком. Для того чтобы поверить в молодое дарование, надо быть почти гениальным.

Гениальные люди переоценивают друг друга, и, во всяком случае, они хоть несколько недель своей жизни верят друг другу. Пушкин поверил Гоголю почти сразу. Толстой не только поверил Горькому; видал Чехова

в снах и как будто бы отвечал перед молодым писателем.

Много было разговоров о литературе в высоких комнатах «Летописи», много было загадано. Не все было угадано. Даже писатели-пророки ошибаются. Поэты ошибаются не реже других — поэты нетерпеливы.

Квартира Горького, помещавшаяся на Кронверкском проспекте (ныне проспект Горького), посещалась нами всеми. Этот проспект замечателен тем, что он имеет только одну сторону. С другой стороны был парк.

Когда-то вместо парка на этом месте высились валы Петропавловской крепости.

За парком, за высоким шпилем собора, была видна Нева, дальше — Адмиралтейская игла.

Будущее было в надеждах, за горизонтом: между нами и будущим был огонь и дым революции.

Была старая, огромная, расплывшаяся, как распаханный курган, Россия. Горы — Урал, Кавказ, Карпаты — были совсем далеко. На Карпатах, где я уже побывал в ту безнадежную войну, видел обрушенные окопы.

В одном окопе, подкопав себе пещерку в глиняной стенке бруствера, варил кашу старый солдат.

Горел огонек, заменяя домашний уют.

Прошла война. Жили мы опять в веселом Петрограде.

Алексей Максимович восхищался тогда прозой Михаила Зощенко, очень любил ее.

Про Всеволода Иванова он говорил: «Я так не начинал».

Очень любил Бабеля. По-другому, по-товарищески, он относился к Федину, веря в его надежный талант.

Федин был постарше. А тогда каждый год разницы между нами много значил.

Бабелю Горький посоветовал посмотреть людей, походить по России.

Революционная Россия тогда была очень пересеченной местностью.

Побывал потом Исаак Бабель солдатом, служил в ЧК, в Наркомпросе. Ходил в продовольственных экспедициях 18-го года, кажется, ездил на баржах по Волге — эти баржи тогда обстреливали. На них читали лекции. Побывал Бабель в армии, стоящей против Юденича, линия фронта которой подходила совсем близко к Питеру, занимала дачные местности.

Но есть старая китайская пословица, что у многих аппетит шире рта.

Революционный город — накаленный, огромный, неистощимый — много был шире рта армии Юденича и других армий: пасти их смыкались судорогой страха. Потом фронты откатились, а гром их усилился.

Попал Бабель и в Первую Конную армию. Мне про него рассказывал директор кинокартины «Броненосец «Потемкин» Блиох, который прежде был там комиссаром. Бабеля очень любили в армии. Он обладал спокойным бесстрашием, не замечаемым им самим. В Первой Конной понимали, что такое бесстрашие.

Умение освободиться от страха у каждого человека свое. Но тогда, когда человек находится под пулями, видит конную атаку, не меняется голос, его посадка, когда он не подтягивается и не распускается — физическая смелость, всеми уважаемая.

Бабель вернулся в редакцию не скоро.

Встретился я с Бабелем в зимнем Питере. Снега в городе были так высоки, как будто это был не город, а

решетчатый противоснеговый щит, сколоченный из редких досок. Такие щиты как бы притягивают к себе снег. Фабрики не дымили. Автомобилей тогда было считанные десятки. Снег лежал чистый, по снегу протаптывали глубокие тропинки. С крыш свешивались сугробы.

Бабель жил на Невском проспекте в доме номер 86. К комнате его всегда был самовар и иногда бывал хлеб. Сидел у самовара Петр Сторицын — химик с швейцарским образованием, замечательный рассказчик. Часто бывал здесь великий актер Кондрат Яковлев.

Из Питера Бабель уехал, оставив у меня свой чемодан. Он умел так таять в воздухе.

Когда я был на фронте на Днепре, до меня дошли слухи, что Бабеля убили. Потом говорили, что он ранен. Я тогда тоже был ранен.

Что привез с фронта Бабель? Привез рассказы о Первой Конной армии, которые впервые были напечатаны в «Лефе» в 24-м году. Сам Бабель считал это началом своей настоящей литературной судьбы. Слово «карьера», конечно, не употреблялось. И про успех не говорили: говорили про искусство.

У Маяковского на Водопьяном переулке Бабеля встретили восторженно. Что нас поражало и что сейчас меня поражает в искусстве Бабеля, в искусстве рассказа про революцию?

Мы сейчас много говорим об атомной войне. Если она случится,— а она уже прорывалась над Хиросимой и Нагасаки,— эта война будет ужасна. Старые войны были медленны, но тоже страшны. Идти в атаку, плохо подготовленную артиллерией, встать с земли, пройти близкий путь до чужого окопа — трудно. Путь фронтовых частей и ночлеги в снегу, в грязи — не только ма-

териал для красивых пейзажей. Это долгая судьба и долгие отношения между людьми.

Люди снимают картины о революции, о революционных войнах, и получается так, что все это очень страшно, очень мрачно, что это не только переламывает и убивает, но это затаптывает людей. Это верно, но верно не до конца.

У Бабеля бойцы Первой Конной армии представляют себе войну и фронт как свое кровное, радостное дело. Над лугами — небо, а краем неба — победа. Люди пестры и радостны не потому, то они пестро оделись, а потому, что они оделись к празднику.

Бабель — оптимист революционной войны, Бабель изобразил непобедимую молодость, трудно побеждаемую старость и торжество вдохновения. Бабель не пацифист — он солдат революции.

Писал Бабель медленно. Платили за литературу с количества строк, а литература бывает разная — метром ее нельзя измерить. Она медленна, как смена времен года, быстра, как весна, которая подготавливается еще под землею.

Я был дружен с Бабелем. Мы называли друг друга по имени. Ему нравились мои теоретические статьи. А про беллетристику он говорил мне: «Сильнее тебя, взятого в одной строке, у нас нет никого». По-моему, это не много.

Но он умел помнить такие строки.

Вместе работали на кинофабриках. Задумывали сценарии, писали надписи, верили в чудеса, и безымянные чудеса происходили. Взыскательный и смелый Бабель был нужен всюду. Но бывают чудеса, которые попадают в жестяные коробки и лежат на полках.

Последний раз увидал я Бабеля в Ясной Поляне.

Приехали мы из Союза писателей бригадой. Во главе бригады был Василий Иванович Лебедев-Кумач. Время шло к осени.

За широкими полянами стояла березовая роща. Старые аллеи давно сомкнулись над дорожками.

Нас угощали в старом, еще толстовским дедом построенном помещении. Там стояли длинные столы. На столах — картошка, капуста, огурцы. Мяса не помню. Сзади за спиной ходили старые люди неслышной походкой, наливали водку в большие рюмки.

Сидел рядом с Бабелем. Несколько раз подошел к нам сзади старик и хотел налить. Я накрыл рюмку рукою и спросил старика:

— Почему все время к нам?

— Его сиятельство приказали.

— Какое сиятельство?

Старый лакей тихо ответил:

— Лев Николаевич.

Я отошел к стенке и спросил еще раз: чье приказание?

— Графа. Приказано наливать по шуму, чтобы шум был ровный: где молчат — наливать, где шумят — пропускать, так, чтобы шум был ровный.

Шуму в этот раз было не много.

Пошли к могиле Льва Николаевича. На невысоком холме под тогда не очень еще старыми дубами возвышался невысокий холмик. Тогда его еще не покрывали еловыми ветками.

Зеленела трава. Небо спокойно оконтуривалось уверенными изгибами дубовых веток. Листья, по форме знакомые, как своя ладонь, покоились в синеве.

Первым встал на колени Лебедев-Кумач. Мы встали все.

Лежал среди спокойных деревьев в глубокой могиле богатырь с трудной судьбою; если богатырь сидит дома, то, значит, дом — крепость, которую нужно держать.

Пошел с Исааком Эммануиловичем вниз с той «муравьиной горки», по зеленому лугу, к реке.

Кажется, ее называют Воронкой. В ней любил купаться Лев Николаевич.

Он хорошо плавал. Никогда не вытирался после купания. Сох на ветру.

Поле было зеленое, широкое. Мы говорили о Толстом, о длинных романах, о способе сохранять дыхание в длинном повествовании, о том, как не пестрить стиль, а если надо, то надо это сделать так, чтобы все поле было драгоценным. Мы говорили об Алексее Максимовиче, тогда живом.

Говорили о кино, о своих неудачах, о чужих удачах, о том, как надо писать драгоценно и понятно, точно и выборочно, точно и празднично.

Бабель был печален. Очень устал. Одет он был в толстовку, кажется, синего цвета. Спина его слегка круглилась.

Молодость прошла.

Мельком он рассказывал о Париже. Долго говорил о новой прозе.

Мы дошли до спокойной речки. Не шумела вода.

Течет время, как вода, смывая память. Не хочу выдумывать, не хочу уточнять разговор. Мы ведь пишем, а не записываем, не ведем корабельный журнал.

С того спокойного дня Бабеля я больше не видал.

Г. Марков

УРОК МАСТЕРА

В один из приездов в Москву работники Гослитиздата сообщили мне, что рукопись моего романа «Строговы» прочитал Исаак Эммануилович Бабель. Это известие, конечно, взволновало меня. Не рассчитывая на личную встречу с известным писателем, я стал просить товарищей узнать его мнение о моем произведении. Кто-то из них позвонил Бабелю.

— Пусть приезжает ко мне сегодня же. К обеду.

И вот после обеда мы сидим с Исааком Эммануиловичем в его кабинете, расположенном в уютной квартире дома в Николо-Воробинском переулке. Сидим в полусумраке, беседуем увлеченно и откровенно...

Так выглядит этот разговор с Бабелем в моей записи, сделанной вскоре, но, к сожалению, не помеченной ни-

какой датой (воспроизвожу эту запись без какой-либо правки).

— Исаак Эммануилович, я приехал из Сибири, из города Иркутска, стоящего от Москвы на расстоянии пяти тысяч двухсот километров,— сказал я.— Но буду откровенен: я был бы не удовлетворен беседой с вами, если бы все это имело какое-нибудь значение при рассмотрении моей рукописи. Современный художник вооружен самым передовым и самым научным мировоззрением. Наша действительность достаточно многогранна, как в Москве, так и на окраине. Это очень существенно. Это переносит центр тяжести на суть дела и сжигает всяческие мосты для скидок на так называемую отдаленность. В конечном итоге неважно, где мы живем, важно, какими масштабами мы мыслим.

— Да, это так. Но география для меня имеет какое-то значение. Прежде всего в смысле специфики человеческого бытового уклада. Я прочел вашу рукопись с удовольствием. Вы мир видите просто и просто о нем пишете,— продолжал далее Бабель.— Учтите: ничто не имеет столько нераскрытых возможностей, сколько настоящее чувство художественной простоты. Если вы будете следовать этому — вас ждут удачи.

Больше всех меня захватила женщина, которую вы написали с большой силой. Анна. В этом образе сильно все: от философии до художественных деталей. Скажите, сколько вам лет? Откуда вы знаете, как держит себя любящая жена с глазу на глаз с любовницей мужа? Затем, как вы узнали, где подсмотрели и услышали такое сложное чувство в женщине, как раздвоение любви? Все это описано у вас так верно, что кажется, будто испытано вами.

— Если б я опирался только на свой опыт, я бы не

сказал и одной десятой того, что сказано у меня. Я отталкивался от слышанного и воображаемого. Я выработал привычку фиксировать в своей памяти житейские случаи и мелочи. Это расширяет мои представления о жизни. Опираясь на эти представления, я строю воображение и поверяю этим точность воображения. Кроме того, я знал женщину, которая очень походила на Анну Строгову, хотя была далеко не Анной Строговой.

— Это хорошо. Без воображения не может быть художника. Но воображение не нечто оторванное от жизни, а питаемое жизнью. Где вы работаете? Что вас окружает? — спросил Бабель.

— Я сейчас работаю в библиотеке, и меня окружают книги,— ответил я.

— Это очень плохо. Самое опасное для художника — это сделаться книжником.

Все замечательное в литературе — замечательно своей новизной. Ни одна самая хорошая книга не способна дать этого. Новизна в широком смысле этого слова — это жизнь. Мой совет: держитесь ближе к жизни, знайте больше простых людей, населяющих землю, и бойтесь книжничества. Плохо, когда писатель отталкивается не от жизни, а от книги.

— Надеюсь, все сказанное вами никак не противоречит необходимости знания книги? — спросил я.

Бабель ответил:

— Само собой разумеется. Нельзя смешивать книжничество и знание книги. Для писателя знание книги — это знание важной области жизни, приобщение к культуре.

— Мне кажется, что я представляю все это верно,— сказал я.— Сошлюсь на свой маленький опыт: рукопись, которая лежит перед вами, создавалась не мной одним.

Говорю это, расширяя самое понятие «создавалась». Это — концентрация жизненного опыта множества людей. Я собирал этот опыт в той среде, которая близка и понятна мне: крестьяне, охотники, рыбаки. До двух десятков людей разного пола и разных возрастов находятся под постоянным моим наблюдением. Я слежу за всеми движениями их жизней. Это помогает мне видеть общее через частное. Даже тогда, когда я начинаю представлять прошлое, я мысленно передвигаю туда этих людей, и это прошлое начинает рисоваться мне осязаемо, как вчерашний день, прожитый мною. Правда, все это затруднено тем, что эти люди отделены от меня расстоянием.

Таким образом, на первый план я ставлю жизнь, но роль книги для меня при этом не уменьшается, а увеличивается. Книга держит меня в состоянии напряжения, она помогает лучше видеть жизнь и глубже осмысливать ее многообразие.

— Почему вы не живете в деревне? — спросил Бабель.

— Возможно, что это было бы лучше. Но для того, чтобы плодотворно наблюдать, мне нужна не вообще деревня, а деревня, с которой я кровно связан. Это неосуществимо практически. Я не найду там дела, могущего соединить два важных обстоятельства: возможность зарабатывать хлеб насущный и заниматься литературой.

Кроме того, город мне жизненно нужен, мне нужна творческая среда, темп и атмосфера городской культурной жизни.

— Поговорим теперь о рукописи, точнее — о языке,— сказал Бабель, беря рукопись.

Ваш язык прост, точен, но, к сожалению, не везде. Вы еще не всегда умеете говорить своим словом.

Вот примеры.

Вы пишете: «Анна вернулась с покрасневшими глазами». Это хорошо и просто. Но вот дальше: «Прикладываясь к чудотворной иконе, она поддалась царившему возле нее экстазу и всплакнула». Экстазу? Это слово не только не ваше, оно враждебно вашей манере.

Дальше. «Захар не изменил спокойного тона». Тон?! Поверьте, это не ваш тон.

Еще: «В конце августа не по-летнему шелестят деревья. Высохшие листья, хрупкие, как лед первых заморозков, трепещут от самого легкого дуновения ветра». Это хорошо сказано. Точно. Просто. Но вдруг читаю дальше: «В эту пору по полям стоит печальный шум, нагоняющий унылые думы». Унылые думы... Господи, кто только не писал этого!

Или вот еще: «Матвей отвечал не торопясь. Приятно было чувствовать себя в центре напряженного внимания этих людей». В центре напряженного! Это же не ваше. Это написано с чужого голоса.

А вот описание грозы: «В Ильин день разразилась гроза. Вначале солнце с остервенением жгло землю. От зноя повяли листья берез. Воздух накалился, как в жарко натопленной бане. Лошади забились в кусты, коровы залезли в речку, курицы ходили по двору, вяло раскрыв клювы. Артемка босой выбежал на крыльцо, обжег ноги и с плачем поспешил обратно».

Все это хорошо. Тяжеловесно. Ощущаешь физически, пятками, вместе с Артемкой. И вдруг вы теряете свой язык: «Воцарилась жуткая тишина. Казалось, что сейчас свершится что-то гигантски катастрофическое». Отвратительно! Еще пример того, как вы портите фра-

зу: «Агафья нажарила рыбу на сковороде, и дед Фишка радуясь тому, что все в эту ночь произошло так, как ему хотелось, ел жареных чебаков с редкостным наслаждением». Редкостное наслаждение — из чужой песни.

«Резвой рысью жеребчик подвозил ее к селу. Он точно понимал, чего от него хотела хозяйка, и, колесом выгнув шею, красиво перебирал ногами».

Но что значит красиво? Для читателя это пустой звук. Раскройте это «красиво» в какой-то подробности.

«Страшные боли мучили его, и единственным желанием старика была смерть». Это и пережато и недосказано. Помните, что стремление жить — безгранично, даже тогда, когда жизнь для человека — страдание. Осторожно с выводами. Наконец: «Анна оделась на виду у Демьяна в сак и пошла». Сак? Это род пальто. Дайте деталь: какой сак? Пусть читатель увидит это.

Вы, наверное, спросите: как избежать этих и иных подобного рода недостатков?

Скажу — строгостью к себе. Взвешивайте каждое слово. Ставьте его на суд своего вкуса. Но это достигается не сразу. Это достигается тренировкой, упражнением. Только.

— Эта рукопись — моя первая вещь,— сказал я.— Верно ли, что надо начинать с мелких произведений? Почему в редакциях морщат лбы, когда говоришь, что начал сразу с романа?

— Морщат лбы невежественные люди,— засмеялся Бабель.— Литература — более тонкое дело, чем она представляется таким людям. Каждый начинает по-своему, и вредно прописывать рецепты со стороны.

Если вы начали с романа, то, следовательно, ваш строй души сложился именно в этом плане.

Многие говорят: «Горький начал с рассказов, Горький советовал писать рассказы». Но забывают другое: никто так бурно не поддерживал литераторов, начавших с романа, как Горький.

Затем. Русская литература знает и такие важные факты: Толстой начал романом, Достоевский начал романом. Не надо представлять дело так: роман — это что-то высшее, рассказ — нечто низшее.

Хороший рассказ стоит на том же уровне, на каком стоит хороший роман.

Роман, рассказ — это скорее то, в чем выявляется творческое «я» писателя.

Вы знаете, что я не написал романов. Но скажу вам откровенно: самое мое большое желание в жизни — это написать роман. И я не раз начинал это делать. К сожалению, не выходит. Получается кратко. Может быть, поэтому я преклоняюсь перед людьми, пишущими романы. Я пишу кратко. Значит, таков мой психический склад, таков строй души.

Вообще же говоря, моя литературная жизнь сложилась счастливо. Я сразу попал к Горькому.

— Что вы можете сказать мне относительно моей дальнейшей творческой работы? — спросил я.

— Углубляйте свои достоинства и недостатки. Не думайте, что это звучит парадоксально,— сказал Бабель.— Творческая индивидуальность — это и достоинства и слабости, но такие, которые вытекают из присущего только вам склада души и другими не повторимы.

Слушая других, не забывайте о своем внутреннем голосе. Сообразуйтесь с ним.

Л. Боровой

ПОДАРОК

— Послушай,— сказал мне однажды один мой приятель, журналист и кинематографический деятель,— сегодня у меня будет Бабель. Придет непременно, потому что я ему устраиваю аванс. А ведь он — горе мое! — не покрыл еще и прежний. Но что делать! Бабель ведь... Придут, вероятно, еще и другие. В общем, приходи. При тебе мне будет легче с ними разделаться.

Когда я пришел к Владимиру Александровичу, у него уже сидел какой-то седой красивый старик. Оказалось, что это довольно известный немецкий режиссер, бежавший от Гитлера. После долгих скитаний по Европе он приехал к нам, в СССР, прожил у нас более полугода, был обласкан и уже позволял себе критиковать наши порядки. Недавно он предложил Комитету по делам искусств поставить «Персов» Эсхила под открытым

небом, по образцу Маркса Рейнгардта, с которым он долго работал.

— Комитет в принципе поддерживает эту идею,— рассказывал немец,— но почему-то никак не может сказать последнее слово. «Боитесь каких-нибудь современных персов?» — спросил я председателя Комитета. «Никого мы не боимся,— сказал председатель,— но дело все-таки сложнее, чем вы думаете». Я в сотый раз объясняю ему, что спектакль пойдет под открытым небом и помещения мне никакого не потребуется, а он все тянет и тянет, готов даже дать еще один аванс, но чувствую, что чего-то недоговаривает. И только вчера говорит мне очень осторожно: «А не будет ли это просто скучно?» «Персы» Эсхила — скучно! О чем же с ним говорить?!

Долго еще тараторил, невыносимо скромничая, этот немецкий режиссер в том же роде. Заявил даже, что сочувствует председателю, который, как он убедился, хороший человек и притом европейски образованный. Но эта его проклятая нерешительность...

Наконец немец простился и, поговорив еще о чем-то с Владимиром Александровичем в передней, ушел.

И сейчас же пришел еще один гость, на этот раз наш, советский режиссер, у которого тоже было какое-то важное, срочное и личное дело к моему другу. Я хотел уйти, но Владимир Александрович прошептал мне, что теперь я тем более должен остаться.

И опять он ушел с режиссером в переднюю, но довольно скоро вернулся, очень усталый и скорбный. При этом он молча пожал почему-то мне руку, а своей жене Марье Романовне сказал, что пора готовить чай для Бабеля, и Марья Романовна ушла на кухню.

И снова раздался звонок, и опять это был не Бабель.

Пришла молодая, красивая и очень хорошо одетая женщина и сейчас же сообщила, что очень жалеет, что разминулась с «ним», то есть с режиссером, который приходил до нее. Она просила Владимира Александровича повлиять на этого человека, который, конечно, очень талантлив, но почему-то бросил ее с ребенком и сошелся со своей пустенькой и, в сущности, даже не очень красивой помощницей. Владимир Александрович сказал, что он уже повлиял на ее бывшего мужа, и она ушла, заплаканная, но, кажется, довольная, передав на прощание особый привет Марье Романовне, «как женщина женщине».

И вот пришел чем-то очень довольный Бабель. Владимир Александрович рассказал Бабелю, что происходило до его прихода, и вообще о том, как его терзают по личным вопросам всякие люди, как они все ждут от него будто бы советов и наставлений, но главным образом, конечно, авансов.

— Они думают, что литература — это общество взаимного кредита! — сказал бодро Бабель.— Были такие до революции. Даже вы это, вероятно, помните,— добавил он, обращаясь ко мне.

Я подтвердил, что были такие еще на моей памяти, и напомнил, что были также и другие общества взаимопомощи. В старой Одессе, например, было общество приказчиков-евреев и отдельно общество приказчиков-христиан.

— Как же! Помню... Повес! Эс Ге Повес! — обрадовался Бабель.— Такая была фамилия у председателя общества приказчиков-евреев. А какая была у этих приказчиков библиотека! Какие они выпускали рекомендательные каталоги! Какие были у них аннотации, если говорить по-современному! У меня сохранился

один такой путеводитель по новейшей русской литературе, который был издан их библиотекой в 1912 году под редакцией этого самого Повеса. Какие это были уроки словесности! А какие виньетки! Я непременно когда-нибудь напишу про это...

Между тем Марья Романовна принесла чай и разлила его по стаканам.

Бабель даже не пригубил из своего стакана. Он только поднял его, посмотрел на свет и воскликнул:

— Так я и знал. Смитье, настоящее смитье, а не чай!

— Я тоже так и знала,— сказала очень спокойно Марья Романовна.— Знала, что вы все равно заварите чай по-своему. А может быть, я попробую сделать это еще раз?

— Нет. Я это сделаю сам,— сказал Бабель и ушел на кухню.

— Смитье,— сказал он, возвратившись,— это одесское слово, но что-то очень похожее есть в Киево-Печерском патерике: «Аще бы мы ся смитием пометену быти». Может быть, сметье, а не смитье? Надо навести справки. А секрет настоящей заварки очень прост: надо положить по две ложечки чая на каждого и дать ему как следует настояться. Вот я его и оставил там, а у нас есть двадцать минут, чтобы поговорить о литературе. Чай любит настаиваться в одиночестве и под разговор о литературе.

— Был я на днях в «Красной нови»,— продолжал Бабель.— Никого из старших не было. Был только Александр Григорьевич Митрофанов. Он у них сидит на прозе, но, к сожалению, ничего не решает. И очень жаль! Потому что Митрофанов человек с замечательным чутьем и безукоризненным вкусом. Человек, кото-

¹/₄11 Заказ № 484

рый в самом деле понимает, что такое литература. Поразительный человек, одно из высших оправданий нашей революции, если бы она, святая, нуждалась в оправданиях! Сын, как он сам охотно рассказывает, вечно пьяного сапожника и его сожительницы, женщины очень сомнительного поведения. А как хорошо он видит и слышит литературу, как умеет просмотреть на свет ее ткань! Никому я так не верю, как Митрофанову! И больше чем кого-либо боюсь его. Как жаль, что сам он пишет не всегда так, как ему хотелось бы и как мне бы хотелось. Так вот, этот Митрофанов говорит мне: «У нас теперь, понимаете, только две линии в прозе: вальдшнеповская и высоколобая. Несут и несут нам какие-то записки охотников. И все больше из тайги. Но не в этом дело. Пришел сегодня бледный старый человек. Такой, кажется, сроду не держал в руках ружья. Ему бы в самый раз подумать о спасении души. А он кладет мне на стол большущий роман. «Напазончили, стало быть?» — говорю я. Он очень смущен: «Вам уже сказали, черти?» — «Никто, говорю, не сказал, сам знаю».— «А «пазончить» здесь не к месту,— отвечает с большим достоинством этот несчастный.— Посмотрите в словаре. «Пазончить», да будет вам известно, означает — обрубать конечности и даже голову... Это вы будете пазончить мою рукопись». А то приносят что-нибудь под Хаксли или под Джи Эйч Лоренса. Знаете этого великого интеллектуала, автора «Детей и любовников», «Любовника леди Чаттерлей» и прочего? Не смешивать с другим Лоренсом. Но на это у нас есть свой интеллектуал, специалист по высоколобым. Ему, конечно, лучше, чем мне,— иногда у его авторов бывает так плохо, что даже вроде бы хорошо!..» Очень мил этот Митрофанов! Но чай уже, вероятно, готов.

Бабель убежал за чаем, принес, сам разлил по стаканам, остался доволен и неожиданно заявил:

— Пейте, а я прочитаю вам мой новый рассказ.

И стал читать. Это был рассказ «Справка», который до того назывался «Мой первый гонорар». Когда он кончил читать, мы помолчали немного. Тихо улыбалась, закрыв глаза, Марья Романовна.

Наконец Владимир Александрович первым опомнился, чмокнул губами и протянул руку к тетрадке с рассказом.

— Не пойдет. Ведь сам понимаешь! Но для аванса годится. Все-таки оправдательный документ.

Бабель отвел его руку и, к моему изумлению, протянул тетрадку мне.

— Это вам за Повеса! Отличную тему вы мне напомнили.

— А вы... а у вас остался еще экземпляр? — спросил я в полной растерянности, взяв у Бабеля рукопись.

— Остался. Я его уже переписал и еще перепишу и когда-нибудь отдам ему,— сказал Бабель, повернувшись к хозяину.

— Негодяй! — ответил тот.— А как будет с оправдательным документом?

— Никак! Я не возьму под этот рассказ аванс. Ты ведь сам сказал, что его нельзя печатать.

Так я и получил от Бабеля написанный его рукой один из вариантов (и, кажется, лучший) его рассказа «Мой первый гонорар».

А. Н. Пирожкова

БАБЕЛЬ В 1932—1939 ГОДАХ

(Из воспоминаний)

Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдалось счастье прожить с ним рядом несколько лет.

Эти воспоминания — простая запись фактов, еще не известных в литературе о Бабеле,— его мыслей, слов, поступков и встреч с людьми разных профессий, всего, чему свидетельницей я была.

Я познакомилась с ним летом 1932 года, спустя примерно год после того, как впервые прочла его рассказы.

Это знакомство произошло в Москве, у Ивана Павловича Иванченко — председателя Востокостали, большого поклонника Бабеля. И Бабель, и я были одновременно приглашены к Иванченко на обед.

Иван Павлович знал меня по Кузнецкстрою, где я работала после окончания Сибирского института инженеров транспорта. Жил он, когда приезжал в Москву, на Петровке, 26, в доме Донугля, вместе со своей сестрой.

К обеду Бабель явился с некоторым опозданием и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку к семье во Францию.

Иван Павлович, знакомя нас, сказал:

— Это инженер-строитель, по прозванию Принцесса Турандот.

Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием «Принцесса Турандот из конструкторского отдела».

Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда все упрашивал выпить с ним водки. «Если женщина — инженер, да еще строитель,— пытался он меня уверить,— она должна уметь пить водку». Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя.

За обедом Бабель рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты, а поехать было необходимо, так как семья его жила там почти без средств к существованию, из Москвы же очень трудно было ей помогать.

— Еду знакомиться с трехлетней француженкой,— сказал он,— хотел бы привезти ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку.— Речь шла о его дочери Наташе, которую он еще не видел.

Через несколько дней, когда Иван Павлович уехал в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и сестру Иванченко, Анну Павловну, к нему обедать, пообещав нам, что будут вареники с вишнями.

Название переулка, где жил Бабель, поразило меня — Большой Николо-Воробинский. Я спросила: откуда такое странное название?

Бабель объяснил:

— Оно происходит от названия церкви Николы-на-воробьях — она почти напротив дома. Очевидно, церковь была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали.

Я удивилась, но подумала, что это возможно: была же в Москве церковь Троицы, что на капельках, построенная, по преданию, на деньги от сливания капель вина, остававшегося в рюмках; ее построил какой-то купец, содержавший трактир. Позже я узнала, что название церкви и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова «ворóбы» — рода веретена для ткацкого дела в старину.

Квартира, в которой жил Бабель, была необычна, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагались передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором — спальные комнаты.

Бабель объяснил нам, что живет он вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, и рассказал историю своего знакомства и совместной жизни с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы «Элин», торговавшей с СССР электрическим оборудованием. Представительство этой фирмы состояло из нескольких сотрудников и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы — Штайнер, который будет давать советским инженерам некоторую консультацию. Оставшись один, Штайнер из боязни, что квартиру, состоящую из шести комнат, у него отберут, стал искать

себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфуллиной и просил ее найти ему такого соседа из писателей. Сейфуллина порекомендовала Бабеля, который в это время как раз был без квартиры и ютился у кого-то из друзей.

— Так я и поселился здесь, на Николо-Воробинском,— закончил Бабель.— Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. У нас со Штайнером заключено «джентльменское соглашение» — все расходы на питание и на обслуживание дома пополам и никаких женщин в доме! Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену.

До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала на Николо-Воробинском.

Однажды он мне сказал:

— Приходите завтра обедать, я познакомлю вас с остроумнейшим человеком.

На следующий день, придя к Бабелю, я застала у него гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же возобновилась, и я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана. Бабель вкратце рассказал мне сюжет, а затем добавил:

— Пьеса с невеселым названием «Самоубийца» буквально набита остротами на темы современной жизни; ей пророчат судьбу «Горя от ума».

За обедом Бабель все заставлял меня рассказывать о моей работе на Кузнецкстрое в 1931 году. Я рассказала, как однажды в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной шахты пришел запрос на консультанта-специалиста по основаниям и фунда-

ментам. Начальник конструкторского отдела послал меня, предупредив, что там работают переведенные после Шахтинского процесса инженеры. Ехать надо было на лошади, в санях, километров тридцать. Меня встретили солидные, бородатые люди в форменных фуражках и полушубках. Дело оказалось пустяковым, надо было построить одноэтажное здание новой конторы, но грунты были лёссовые, а они отличаются тем, что размокают от воды.

Все домны и все цехи Кузнецкого металлургического завода возводились именно на лёссовом основании, поэтому можно понять, как рассмешило меня требование маститых инженеров выслать им консультанта по такому пустяковому поводу. А консультанту не было и двадцати двух лет.

После того, как я письменно и с чертежом изложила им мои соображения по поводу закладки здания, меня пригласили обедать, очевидно к начальнику угольной шахты. Квартира была со старинной мебелью, картинами на бревенчатых стенах и ковром на полу, даже с роялем; великолепно сервированный стол; дамы — жены инженеров — в старомодных платьях, с бриллиантовыми серьгами в ушах и солидные мужчины в форме горных инженеров — все это казалось невероятным для такой глуши.

Бабель, выслушав мой рассказ, сказал:

— Видите ли, Николай Робертович, эти инженеры, конечно, отлично сами все знали, но нарочно не хотели брать на себя никакой ответственности... Раз им не доверяют, пусть отвечают большевики. Поэтому они и разыграли эту комедию... Ну, расскажите еще что-нибудь...

И я рассказала, как на Кузнецкстрое зимой 1931 года

велась кирпичная кладка одновременно двух дымовых труб доменных печей. На каждой трубе работала бригада каменщиков, и эти бригады соревновались. Не только мы, инженеры, но и все рабочие всех участков и все домохозяйки из окон своих квартир наблюдали за этим соревнованием. Всех охватило волнение, спорили, кто закончит раньше, заключали пари. Никто не оставался равнодушным, воодушевление было всеобщим. Бригады каменщиков были одинаково сильные, поэтому кладка поднималась чуть выше то на одной трубе, то на другой. И все это было на большой высоте и отовсюду видно.

После моего рассказа Бабель заметил:

— Вот если бы написать так, как она рассказывает, а то пишут о соревновании — скука одна...

Как-то раз Бабель попросил разрешения зайти ко мне домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким(а он, как я потом узнала, любил крепчайший), но Бабель выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит:

— Можно мне посмотреть, что находится в вашей сумочке?

Я с крайним удивлением разрешила.

— Благодарю вас. Я, знаете ли, страшно интересуюсь содержимым дамских сумочек.— Он осторожно высыпал на стол все, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно, а письмо, которое я как раз в тот день получила от одного моего сокурсника по институту, оставил. Посмотрел на меня серьезно и сказал:— А это письмо вы не разрешите ли мне прочесть, если, конечно, оно вам не дорого по какой-нибудь особой причине?

— Читайте,— сказала я.

Он внимательно прочел и спросил:

— Не могу ли я с вами уговориться?.. Я буду платить вам по одному рублю за каждое письмо, если вы

будете давать мне их прочитывать.— И все это с совершенно серьезным видом.

Тут уж я рассмеялась и сказала, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол.

Он рассказал мне, что бóльшую часть времени живет не в Москве, где трудно уединиться, чтобы работать, а в деревне Молоденово, поблизости от дома Горького в Горках. И пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день.

Он зашел за мной рано утром и повез на Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал заранее. Дорога шла сначала через дачный поселок, потом полями, потом через дубовую рощу. Он был в очень хорошем настроении и рассказал мне почему-то историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы и по дороге зарубил лошадь по счету «три» так как по счету «раз» и «два» она его не послушалась. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил «раз», сразу бросалась исполнять его приказание, помня, чтó последует после слова «три».

Дом в Молоденове, в котором жил Бабель, был крайним и стоял на крутом берегу оврага, по дну которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву-реку. Сенями дом разделялся на две половины: одну, состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу, занимал хозяин, Иван Карпович, с семьей, и другую, где жил Бабель,— из одной большой комнаты с окнами на огород. Обстановка в этой комнате была очень скромной. Простой стол, две-три табуретки и две узких кровати по углам.

Бабелю хотелось показать мне все молоденовские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас

же отправились пешком на конный завод. Там нам показали жеребят, один из них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому.

Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и всё ему с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жеребых кобылиц — они паслись отдельно на лугу на берегу Москвы-реки.

Разговор с зоотехником у Бабеля шел очень специальный; в нем слышались выражения, смысл которых мне стал ясен только значительно позже, например: «на высоком ходу», «хорошего экстерьера», «обошел на полголовы». Обо мне Бабель, как мне казалось, забыл. Наконец, приблизившись, он стал рассказывать о кобылицах. Одна, по его словам, была совершенная истеричка; другая — проститутка; третья давала первоклассных лошадей даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу; четвертая, как правило, ухудшала ее.

И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы прошли мимо ворот белого дома с колоннами, в котором жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули к реке, а искупавшись, отправились в Молоденово через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня к старику пасечнику, очень высокому, с большой бородой, убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах.

Возвращались на станцию тоже на лошади. По дороге Бабель спросил меня: «Вот вы, молодая и образованная девица, провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни одного литературного вопроса. Почему? — Он не дал мне ответить и сказал: — Вы совершенно правильно сделали». Позже я

убедилась, что Бабель терпеть не мог литературных разговоров и всячески избегал их.

В Молоденове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном Карповичем, с которым мог часами разговаривать, с очень дряхлым старичком Акимом, постоянно сидевшим на завалинке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем; у него был целый круг знакомых — бывалых старых людей.

Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со мной, в правлении колхоза. Не для заработка, конечно, а с единственной целью как можно доскональнее узнать колхозную жизнь. Крестьяне называли Бабеля «Мануйлычем».

Незадолго до своего отъезда во Францию Бабель уговорил меня переехать на время его отсутствия на Николо-Воробинский. Он боялся, как бы в пустую квартиру (Штайнер в это время все еще был за границей) кто-нибудь не вселился. Он надеялся, что я в случае необходимости найду лиц, которые помогут квартиру отстоять. Я заняла одну из верхних комнат Бабеля и месяцев пять или шесть прожила в квартире с милой девушкой Элей, работавшей у Штайнера.

Так как Бабель долго не возвращался из Франции, по Москве распространился слух, что он вообще не вернется. Я написала ему об этом, и он мне ответил: «Что могут вам, знающей все, сказать люди, не знающие ничего?» Писал из Франции Бабель часто, почти ежедневно, так что за одиннадцать месяцев его отсутствия накопилось очень много писем.

...Однажды весной 1933 года я поехала в Молоденово и написала ему об этой моей поездке.

«Нож ревности повернулся в моем сердце, — ответил

мне Бабель,— когда я узнал, что вы были в Молоденове. В моей тоске по родине чаще всего у меня перед глазами это мое жилье». Он писал мне также, что ему заказали написать киносценарий об Азефе и что он согласился, чтобы заработать денег и оставить семье. Он упоминал об этом в письмах несколько раз, но когда много лет спустя я пыталась узнать у сестры Бабеля и у его дочери Наташи, живущих за границей, был ли написан этот сценарий и какова его судьба, они ничего не могли мне сказать. Только в 1966 году, когда в Москву из Парижа приехала Ольга Елисеевна Колбасина, выяснилось, что Бабель начинал этот сценарий вместе с ней, потому что Азеф когда-то часто бывал у нее. Она рассказала мне, что были написаны, кажется, две сцены, Бабель их ей диктовал. Она обещала мне найти эти сцены в своих бумагах, но вскоре в Москве умерла. Все ее бумаги остались в Париже, у ее дочери, Натальи Викторовны Резниковой, которую я тоже просила их поискать. Насколько мне помнится, работа над этим сценарием прекратилась потому, что кто-то другой предложил кинематографической фирме в Париже готовый сценарий на эту тему. Но, может быть, я и ошибаюсь.

Бабель возвратился из-за границы в сентябре 1933 года. Он приехал один, без семьи. Я оформляла в это время свой уход со службы, чтобы после отпуска взяться за другую, более интересную для меня, работу. Отпуск я собиралась провести в доме отдыха в Сочи. Узнав об этом, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по Кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне это побережье, Минеральную группу и Кабардино-Балкарию. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.

Я встретила его на сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять еще на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, мы обсудили наш маршрут.

Сначала мы решили поехать на машине в Гагры — там велись съемки картины «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана и Масса. В этой картине снимался Утесов. Из Гагр было намечено проехать в Сухуми, а оттуда добираться до Кабардино-Балкарии. Я сказала Бабелю, что у меня есть билет для проезда в мягком вагоне от Сочи до Москвы и он пропадает.

— Очень хорошо,— ответил он,— мы его обменяем на два билета до Армавира.

На другой день мы пришли в ресторан обедать и сели за столик, занятый двумя пожилыми дамами, одна из них в этот момент жаловалась своей соседке, что никак не может достать билет до Москвы. И тут Бабель вдруг говорит:

— А у нас есть такой билет, но мы не можем им воспользоваться. Возьмите его.

Я, ни слова не говоря, вынимаю из сумочки билет и отдаю незнакомой даме.

— Сколько я вам должна?— спрашивает она.

— Нет, нет, он бесплатный, пожалуйста, возьмите. Он нам совершенно не нужен!— возражает Бабель.

Чувствую, что он страшно смущен, меня он еще достаточно хорошо не знает и не знает, как я к этому отнесусь. Ведь мы только вчера решили обменять этот билет на два до Армавира! Он сам не свой и все на меня поглядывает, а я болтаю о другом и виду не подаю, что все это имеет для меня какое-нибудь значение.

Доброта Бабеля граничила с катастрофой. В этом я убедилась позже, и случай с билетом был только пер-

вым таким примером. В подобных случаях он не мог совладать с собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки и говорил: «Если я хочу иметь какие-то вещи, то только для того, чтобы их дарить». Но он мог подарить также и мои вещи. Возвратясь из Франции, он привез мне фотоаппарат. Через несколько месяцев один знакомый кинооператор, уезжая в командировку на Север, с сожалением сказал Бабелю, что у него нет фотоаппарата. Бабель тут же отдал ему фотоаппарат, который никогда ко мне уже не вернулся.

Даря мои вещи, он каждый раз чувствовал себя виноватым и смущенным, но я знала, что он с этим справиться не может, и никогда не показывала виду, что мне жалко вещей. А было, конечно, жалко.

Мы поехали в Гагры в теплый, солнечный день в открытой легковой машине...

...В Гаграх шли съемки «Веселых ребят», и мы с Бабелем пропадали на них, смотрели, как снимают то Утесова, то Орлову, то как без конца бултыхается в воду очень милая актриса Тяпкина. Утесов хвалился все возрастающим числом своих поклонниц, и это меня так раздражало, что я наконец не выдержала и сказала ему: «Не понимаю, что они в вас находят, ведь вы некрасивый и вообще ничего особенного».

Утесов прямо взвился — и к Бабелю:

— Она находит, что я некрасивый, объясните ей, пожалуйста, что я красивый и, вообще, какой я!

И я выслушала от Бабеля внушение:

— Нельзя быть такой прямолинейной. Он артистичен до мозга костей. Вы же видели, каков он, когда выступает, у него артистична даже спина.

Не согласившись с Бабелем, я ушла и бродила целый день. Жоэкварское ущелье поразило меня дикой

своей красотой, и я на другой день уговорила Бабеля пойти со мной в горы.

Потихоньку, ничего ему не говоря, я увлекла его в ущелье. Там было одно место, где приходилось идти по узкой тропинке, огибая выступ скалы, рядом с пропастью, а идти можно было, только прижимаясь спиной к скале и передвигая ноги боком. И вдруг я так испугалась за Бабеля, что крепко схватила его за руку, и мы, не глядя вниз, прошли опасное место. Отдышались уже на ведущей к морю дороге. Бабель сказал: «Сусанин, куда меня завел?» Мы спустились с гор, когда уже стемнело, и были ужасно голодны. В первом же попавшемся нам духане заказали харчо и ели его с белым, свежим, пушистым хлебом. Казалось, что вкуснее этого ничего не может быть.

Бабель очень любил гулять, но должен был из-за мучившей его астмы сначала медленно-медленно «разойтись», а потом уж, когда с дыханием все было хорошо, мог ходить довольно много. Я ничего этого тогда не знала и увлекла его в длительную прогулку по горам, не дав ему раздышаться. Поэтому он чувствовал себя ужасно, задыхался, но от меня это скрывал.

Вечерами в Гаграх мы ходили к персу Курбану — пить чай под платанами. Чай был очень крепкий, горячий, с кизиловым вареньем.

Утесов в тот наш приезд был неистощим на рассказы. Тут я впервые узнала, что он не только музыкант, но и талантливый рассказчик и что он когда-то выступал с чтением рассказов Бабеля «Как это делалось в Одессе» и «Соль». Однажды он подарил Бабелю свою фотографию с шуточной надписью: «Единственному человеку, понимающему за жизнь»...

Из Гагр на машине мы переехали в Сухуми, где

прожили несколько дней. Кинорежиссер Абрам Роом снимал там на берегу моря картину с участием Ольги Жизневой. По утрам мы ходили на базар, а днем в обезьяний питомник или на пляж. В городе повсюду жарились шашлыки: и на базаре, и прямо на главной улице, в каких-то нишах домов, где устроены для этого специальные приспособления. Город был наполнен запахом жареной баранины. Вечерами встречались на набережной и пили в чайной крепкий чай с бубликами.

Из Сухуми пароходом мы добрались до Туапсе, а оттуда поездом отправились в Кабардино-Балкарию. Чтобы попасть в Нальчик, мы должны были сделать пересадку на станции Прохладная. Поезд пришел туда поздно вечером, когда в станице все уже спали, а отправлялся он в Нальчик утром. Мы оставили вещи на вокзале и налегке пошли по улицам, выбрали удобную скамью под деревом и просидели на ней всю ночь.

Ночь была теплая, светлая от луны, тополя серебрились, пахло пылью и коровами. Когда взошло солнце, мы отправились на базар.

— Лицо города или села — его базар,— говорил мне Бабель.— По базару, по тому, чем и как на нем торгуют, я всегда могу понять, что это за город, что за люди, каков их характер. Очень люблю базары, и куда бы я ни приехал, я всегда прежде всего отправляюсь на базар.

На базаре было уже полно народу, много лошадей, торговали зерном, скотом. Вся продающаяся птица — живая. Мы купили горячие лепешки, пшенку (вареные кукурузные початки) и пошли на вокзал.

— Нет былого изобилия, сказывается голод на Украине и разорение села,— говорил Бабель.

Через несколько часов мы были в Нальчике, остано-

вились в гостинице и заказали чаю. Я легла спать, а Бабель отправился к Беталу Калмыкову, первому секретарю обкома Кабардино-Балкарии...

Бабель разбудил меня. Войдя в мой номер, он сказал со смехом:

— Знаете, сколько вы проспали? Теперь утро следующего дня. Бетал приглашает нас переехать к нему в загородный его дом, где он сейчас живет, в Долинское.

Но я заупрямилась:

— С Беталом я незнакома, принять приглашение не могу, приглашает он вас, а не меня, и переезжать к нему я не хочу. Не хочу — и все!

Со мной ничего нельзя было поделать. Не помогло ни уверение в том, что у меня там будет своя комната, ни то, что у Бетала всегда живет много всякого народу — корреспонденты московских газет с женами и т. д. Я стояла на своем. Пришлось Бабелю снова пойти в обком, и там было решено, что он будет жить у Бетала, а я куплю путевку в дом отдыха как раз напротив дома Бетала. На это я согласилась, и мы переехали в Долинское. По дороге туда Бабель рассказал мне о своей встрече с Беталом Калмыковым в тот первый день в Нальчике, который я полностью проспала:

— Я встретил его на площади, он стоял перед новым зданием Госплана. Я подошел к нему и сказал: «Красивое здание, Бетал». Он ответил: «Здание — красивое, люди — плохие. Зайдемте!» Мы вошли, и я с удивлением услышал, как он сказал какой-то женщине, что хочет пройти в уборную и чтобы там никого не было. Пригласил меня туда. В уборной было нисколько не хуже, чем в уборной любого московского учреждения, но Бетал остался недоволен. Он прошел оттуда к

заведующему и, когда тот встал, встречая нас, сказал ему без всякого предисловия: «Вы дикий и некультурный человек! У вас в уборной грязно».

В Долинском Бабель познакомил меня с Беталом и его семьей.

Бетал Калмыков был высокого роста, довольно плотный и широкоплечий, с раскосыми карими глазами и круглым, скуластым лицом. Одевался он в серый костюм из простой ткани, которая называлась тогда «чертовой кожей». Брюки-галифе и рубашка с глухим воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого шевро, а на голове кубанка из коричневого каракуля, с кожаным верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки, и только однажды я увидела его без шапки и узнала, что он лыс. Очевидно, своей лысины он стеснялся.

Жена Бетала, Антонина Александровна, была русская, крупная и красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей: сын Володя примерно двенадцати лет и дочь Светлана (Лана) трех или четырех лет. Мальчик был очень красив и имел русские черты лица, а девочка похожа на Бетала, со скуластым личиком и черными, слегка раскосыми, лукавыми глазами. Лана была любимицей отца.

— Некрасивая будет у меня дочка, никто не умыкнет,— говорил Бетал, держа на коленях Лану.

— Она сама кого захочет умыкнет,— смеялся в ответ Бабель.

По утрам в Долинском Бабель работал или чаще уезжал куда-нибудь с Беталом. После обеда Бабель приходил ко мне, мы с ним гуляли, и он рассказывал о Бетале или передавал услышанное от него за завтра-

ком или обедом. Я запомнила кое-что так, как Бабель пересказал это мне.

«За мной гнались белые,— таков был один из рассказов Бетала,— я убегал в горы по знакомым тропинкам. Погоня длилась трое суток, меня уже было настигали, но я уходил. За мной охотились. Меня решили загнать, как загоняют зверя. Гнались по моим следам, я не мог остановиться. Сил оставалось все меньше, я ничего не ел, не спал. Наконец на третьи сутки погоня прекратилась. Я так устал, что упал, а когда поднялся, то увидел перед собой большого тура. Он был совсем близко, смотрел на меня, весь дрожал, а из глаз его текли слезы. Тур плакал. Он тяжело дышал и так же, как и я, не мог бы сделать больше ни шага. Белые гнались за мной, а я, сам того не зная, гнался за туром. И вот мы оба изнемогли и теперь стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Я первый раз в жизни видел, как плачет тур».

В Кабардино-Балкарии довольно большая площадь леса отведена под заповедник. Водятся там медведи, кабаны, лоси и много всякой птицы. Охота занимает значительное место в жизни здешних людей, и Бетал был страстным охотником. Его рассказы за столом чаще всего касались этой темы. Иногда приезжали поохотиться члены правительства из Москвы. И вот однажды на охоту приехала большая группа гостей во главе с Ворошиловым. И Бабель рассказал мне то, что слышал о Бетале от одного из его товарищей:

— Ружья были заряжены дробью. Во время охоты кто-то из неумелых гостей нечаянно всадил Беталу в живот весь заряд дроби. Но он и виду не подал, продолжая охотиться до конца. После охоты жарили птицу и ужинали, а когда все легли спать, Бетал обнажил

живот и при свете костра сам и с помощью товарищей вытащил перочинным ножом более двадцати засевших глубоко дробинок. Две дробинки остались, их вытащить не удалось. Никто так ничего и не заметил. На другое утро охотились на кабанов, и только после этого, проводив гостей домой, Бетал обратился к врачу. Каковы законы гостеприимства! — заметил Бабель.

В другой раз на охоте пуля одного из гостей-охотников попала Беталу в кость ноги. На следующий день ему надо было ехать в Москву на какое-то совещание. Он с трудом натянул на больную ногу сапог и, прихрамывая, дошел до вагона. В поезде нога начала распухать, сапог пришлось разрезать и снять. В Ростове его ссадили с поезда, чтобы немедленно везти в больницу. Бетал ни за что не захотел лечь на носилки, сам дошел до машины, а потом и до операционного стола. Ему хотели привязать к столу руки и ноги, но он воспротивился, от наркоза он также категорически отказался. «У нас на Кавказе не любят насилия над человеком, не прикасайтесь ко мне, я не вскрикну, я хочу сам видеть операцию!»

«В первый раз в жизни,— рассказывал Бетал,— я видел человеческую кость. Какая красивая! Белая, как перламутровая, с голубыми и розовыми прожилками. Я видел, как врач вытащил пулю и как зашил кожу. Закончив операцию, он мне сказал: «Ну, товарищ Калмыков, все в порядке, но охотиться на медведей вы больше не будете». Я ответил: «Буду, доктор, и шкуру первого убитого мною медведя пришлю вам». Я пролежал больше месяца, потом стал ходить, но нога не сгибалась в колене, ходить было неудобно. Думал я, думал, как быть, и решил опускать ее в горячую воду и потихоньку сгибать. Каждый день я проделывал эти

упражнения. Сначала было очень больно, а теперь — пожалуйста! — И он покачал ногой, легко сгибающейся в колене. — Шкуру первого убитого мной медведя я послал доктору в Ростов».

Кабардино-Балкария в 1933 году была областью казавшегося немыслимым изобилия. Там поражали базары, сытые лошади, тучные стада коров и овец.

Из Нальчика Бабель писал своей матери: «Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской), жемчужине среди советских областей, и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно».

Когда начался сбор кукурузы, Бетал не оставил в обкоме и в учреждениях Нальчика ни одного человека. И сам он, и его жена Антонина Александровна отправились на поля. Работали целыми днями, Бетал был впереди всех, он выполнил норму по сбору кукурузы бо́льшую, чем самый опытный колхозник.

— Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии, — говорил мне Бабель. — Он первый охотник, нет ему равного. Он — самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он — лучший в стране наездник... Бетал всегда окружен товарищами — бывшими партизанами, вместе с которыми в давние времена он дрался с белыми. В этом я убедился сам. Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку, дорожки его были засыпаны облетевшей листвой. Вдруг неизвестно кому Бетал сказал: «Надо бы подмести дорожки» — и кто-то рядом из темноты ответил: «Будет сделано!..» Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей, бывших партизан, — повторил Бабель, — а

когда вышло распоряжение, чтобы у Бетала была официальная охрана, он с трудом переносил это. Недавно мы ездили с Беталом на строящуюся электростанцию. Вышли из машины и пошли по тропинке. Тотчас из другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами. Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из них: «А ну-ка, убей змею!» Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал: «Как же вы будете защищать меня, когда вы змею убить боитесь?»— и пошел дальше».

Строящаяся электростанция была гордостью Бетала Калмыкова, он много говорил о ней и почти ежедневно сам бывал на стройке.

Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы объединить те 15% единоличных хозяйств, которые там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне замечательную речь, произнесенную Беталом перед инструкторами:

«Побрякушки, погремушки сбросьте, это вам не война. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошах, ешьте с ними одну и ту же пищу и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что все хорошо, но... выйдет *один старик* и расскажет мне правду. Если вы все хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день Седьмого ноября. Если же вы все провалите...»

— Угроза была нешуточной, инструкторы побледнели,— закончил Бабель свой рассказ...

Мне надоело мое безделье, и однажды, гуляя, я увидела женщин, убиравших в поле морковь. Я присоединилась к ним и проработала до обеда. Настроение у меня сразу поднялось, обедала я с аппетитом в первый раз за все время моего пребывания в Нальчике. Когда Бабель после обеда пришел ко мне, я ничего ему не сказала. Но Бетал уже все знал.

— Этот человек знает, что делается в его «владениях» в каждую минуту времени. Он не может иначе,— сказал Бабель.

И вскоре это подтвердилось еще раз. В конце октября Бетал предложил нам поехать в такое — единственное — место, откуда виден весь Кавказский хребет и одновременно две его вершины — Эльбрус и Казбек. Выехали верхом на лошадях в ясное, солнечное утро. И только на пути нашем туда нас дважды нагоняли верховые, которых посылал Бетал, чтобы узнать, все ли у нас хорошо.

Мы решили провести на горе Нартух ночь, увидеть Кавказский хребет на рассвете и на другой день к вечеру возвратиться в Нальчик. Никогда раньше не видела я альпийских лугов; высоко над уровнем моря, на чуть холмистой местности, расстилался зеленый ковер с цветами и стояли стога свежего сена. Было очень жарко. Невозможно было себе представить, что в Москве в это время деревья стоят голые и льет холодный дождь. Ночью все сидели у костра, в большом котле варились свежие початки кукурузы. То и дело вокруг раздавался звон и грохот, это сторожа кукурузного поля отгоняли медведей, покушавшихся на урожай.

Наконец из предрассветной мглы начали выступать

горы,— сумрачные, темно-синие и фиолетовые, они вдруг окрашивались в отдельных местах в розовый цвет, словно кто-то их зажигал. И вдруг все вспыхнуло в разнообразных переливах красок — взошло солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. Слева— Казбек, справа — Эльбрус, между ними— цепь горных вершин.

Бабель ушел с охотниками на вышку, где можно было видеть, как кабаны идут к водопою, а потом наблюдать и охоту на них.

В письме к матери Бабель по этому поводу писал:

«Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2 000 метров среди альпийских пастбищ и на виду у всего Кавказского хребта, от Новороссийска до Баку,— жарили целых».

Я не видела Бетала в тот день, но возможно, что он приезжал под утро, чтобы поохотиться, и затем уехал в Нальчик. Мы же оставались на горе Нартух до середины дня и возвратились в Долинское уже вечером.

Позже мы ездили вместе с Беталом также в Баксанское ущелье, к самому подножию Эльбруса. Солнце было горячее, и подтаивающий снег ледников стекал многочисленными ручьями в речку Баксан. Бабель, смеясь, рассказал мне:

— Беталу надоело читать, как альпинисты совершают подвиги восхождения на вершину Эльбруса и как об этом пишут в газетах, и он решил покончить с легендой о невероятных трудностях этого подъема раз и навсегда. Собрал пятьсот рядовых колхозников и без всякого особого снаряжения поднялся с ними на самую вершину Эльбруса. Теперь, когда его об этом спрашивают, он только посмеивается.

12 Заказ № 484

В Баксанском ущелье мы прожили несколько дней в зеленом домике Бетала, недалеко от балкарского селения. Гуляя, мы находили множество бьющих из-под земли нарзанных источников, узнавая их по железистой окраске вокруг.

«Несколько дней,— писал в это время Бабель своей матери,— провели в Балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3 000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык».

Вместе с Беталом Бабель и здесь разъезжал по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями: «Какой народ! Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе! И как они верят Беталу! Все его помыслы — о благе народа».

Из Баксанского ущелья мы хотели было поехать верхом на лошадях на перевал Адыл-Су, чтобы взглянуть оттуда на море. Однако накануне ночью в горах разыгрался буран. Пришлось возвратиться в Нальчик.

Настало Седьмое ноября. С утра недалеко от города были устроены скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне.

Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Беталу какая-то бедно одетая женщина, в шали, с ребенком на руках, и сказала ему несколько слов по-кабардински. Бетал быстро обернулся к председателю облисполкома и по-русски спросил: «Она колхозница?» — «Они — лодыри»,— ответил тот. Бетал что-то сказал женщине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал, до того очень веселый, стал мрачен. Бабель спросил своего соседа: «Что сказала женщина?». Тот перевел: «Бетал, мы колхозники, и мы голодаем.

Нам выдали на трудодни 10 килограммов семечек. Мой муж болен, у нас нечего есть».— «А что сказал Бетал?» — спросил Бабель. «Он сказал, что завтра к ним приедет».

После окончания скачек и раздачи призов мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложил мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину Бетал сел вместе с Бабелем, и они тронулись первыми, мы — за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера: «А мы не могли бы их обогнать?» — «У нас это не полагается»,— ответил он строго. Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну. «Я к этому привыкла», — улыбаясь, сказала она.

Вечером нас пригласили на праздничный концерт. Когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, без подошв, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно припадать на колено, Бетал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне: «Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку».

На другой день утром Бетал выполнил свое обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал:

— По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а затем за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины и с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставило их

побледнеть. По дороге к дому женщины Бетал сказал: «Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла всех вас, прежде чем ко мне подняться». И немного погодя: «Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок, и вы проедете мимо, а я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?»

Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же: «Эти люди — лодыри, они не хотят работать».

Мы подъехали к маленькой, покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж женщины, укрытый лохмотьями, и агонизировал. (Именно это слово «агонизировал» употребил Бабель.)

В комнате было прибрано, но почти пусто. На столе — мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал все осмотрел, сказал несколько слов больному колхознику — спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райкома, сказал: «Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома. Чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда и было выплачено им все, что полагается на трудодни». Затем, выйдя во двор, добавил: «Чтобы был скошен весь бурьян и там,— показал на дальний угол двора,— была построена уборная». Затем сел в машину, и мы уехали.

Назначенный Беталом день совещания был потом перенесен на следующий, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением его ждали. Но было слишком много желающих

поехать на это совещание, и мне было неудобно просить Бабеля взять меня с собой. Поэтому я с нетерпением ждала его возвращения.

— Перед нами стоял красивый новый дом,— рассказал мне, возвратясь, Бабель,— он был закончен, только внутри печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес: «Неужели сердца ваши затопило жиром?» Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за рукав ближайшего ко мне человека и спросил: «Что он говорит?» Оглянувшись, тот ответил: «Ругает один человек». Голос Бетала звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа: «Что он говорит?».— «Ругает все люди»,— ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И, наконец, когда Бетал стал что-то выкрикивать и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает, каким-нибудь призывом,— еще раз толкнул соседа и спросил: «Что говорит он?» Тот повернулся ко мне и сказал: «Он говорит, что надо строить уборные». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь.

Рассказы Бабеля о Бетале продолжались. Запомнился и такой:

— Бетал созвал девушек Кабардино-Балкарии и сказал им: «Лошадь или корову купить можно, а девушку — нельзя. Не позволяйте своим родителям брать за вас выкуп, продавать вас. Выходите замуж по любви». Тогда вышла одна девушка и сказала: «Мы не согласны. Как это так, чтобы нас можно было взять да-

ром? Мы должны приносить доход своим родителям. Нет, мы не согласны».

Бетал рассердился, созвал юношей и сказал им: «Поезжайте на Украину и выбирайте себе невест там, украинские девушки гораздо лучше наших, они полногрудые и хорошие хозяйки». И послал юношей в ближайшие станицы, чтобы они оттуда привезли жен. Тогда делегация девушек пришла к Беталу и объявила: «Мы согласны».

О съезде стариков, который созывал Бетал, Бабель написал из Нальчика своей матери: «Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано: «Инспектор по качеству», и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка, и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину».

Бетал Калмыков был одним из тех людей, которые владели воображением Бабеля. Иногда он в раздумье произносил: «Хочу понять: Бетал — что он такое?» В другой раз, прохаживаясь по комнате, он говорил:

— Когда к нему из Москвы приезжают уполномоченные ЦК, они обычно останавливаются в специальном вагоне и приглашают туда Бетала. Он входит и садится у дверей на самый краешек стула. Все это наро-

чито. Его спрашивают: «Правда ли, товарищ Калмыков, что у вас нашли золото в песке реки Нальчик?» Он отвечает: «Помолчим пока об этом». Он покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил его однажды — на какие деньги? Оказалось, заставил население собирать плоды дичков (груш и яблонь), которых в лесах очень много, построил вареньеварочные заводы; делают там джем и варенье, продают и на эти деньги строят дороги. Кстати, нас приглашают посетить один такой завод...

И мы поехали. Повез нас туда вместе с другими гостями сам Бетал, показал все оборудование. Любимым его выражением для похвалы было: «Добропорядочный работник», а для порицания: «Дикий, некультурный человек». На вареньеварочном заводе он никого не ругал, наоборот, раза два про кого-то сказал: «Добропорядочный работник».

Всем гостям Бетал предлагал варенье и джем в банках. Многие взяли, а мы с Бабелем отказались. Позже мне Бабель сказал:

— Бетал о вас говорит очень уважительно, наверное потому, что вы отказались взять варенье.— Засмеялся и добавил: — А может быть, потому, что вы здесь ведете такой обособленный образ жизни. Он даже собирается пригласить вас к себе на работу инженером на строительство электростанции. Ну как, вы бы согласились?

— Нет,— ответила я.— Я собираюсь работать по проектированию метро...

Уже зимой, а может быть, весной 1934 года, находясь в Москве, Бабель узнал, что на спортивных соревнованиях в Пятигорске, куда съехались спортсмены всех северокавказских областей, кабардино-балкарцы заво-

евали все первые места. С этой новостью он вошел ко мне в комнату.

— Среди народностей Северного Кавказа,— сказал он,— ни кабардинцы, ни балкарцы не отличаются особенной физической силой, тем не менее все первые места взяты ими. Что мог сказать, отправляя спортсменов на соревнования, Бетал? Дорого бы я заплатил за то, чтобы узнать это.

В феврале 1935 года Бабель написал своей матери:

«В Москве — Съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Сев. Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять часов утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо!»

Когда позже, кажется, в 1936 году, Бетал снова приехал в Москву, Бабель мне сказал:

— Пойдите к Беталу в гостиницу и уговорите его показаться здесь врачу. Мне известно, что он болен, у него, по всей вероятности, язва желудка, а к врачу пойти не хочет. Быть может, вас он послушается. Кстати, захватите для Ланы апельсины.

И вот я с пакетом апельсинов отправилась к Беталу. Он сидел в гостиничном номере на диванчике у стола все в той же каракулевой шапке и ел со сковородки яичницу. Встретил меня с улыбкой. После обмена общими фразами я, нарочно пользуясь его излюбленным выражением, сказала: «Бетал — вы дикий и некультурный человек, почему вы не хотите посоветоваться с врачами о вашей болезни?» Он рассмеялся и сказал: «Да они все выдумали, я совершенно здоров». На том мои уговоры и закончились...

...К сожалению, рассказы Бабеля о Кабардино-Балкарии остались ненаписанными...

Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз, в станицу Пришибскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать мне Минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля Терский конный завод.

— Терский конный завод существует уже несколько лет,— рассказывал по дороге туда Бабель,— основан он специально для того, чтобы получить потомство от Цилиндра — замечательного арабского жеребца. Но вся беда в том, что от него рождаются только кобылицы. И каких бы маток к нему ни подводили, получить жеребчика пока не удается...

На заводе нам показали Цилиндра. В жизни я не видела лошади красивее. Совершенно белый, с изогнутой, как у лебедя, шеей, с серебристыми гривой и хвостом. Бабель успел уже показать мне очень породистых лошадей и на конном заводе вблизи Молоденова и на Московском ипподроме, но там была рысистая порода, арабского жеребца я видела впервые. Я даже не думала, что такие красивые кони могут существовать на самом деле.

— Ну что? — улыбаясь, спросил Бабель.— Стоило устраивать ради него завод?

Мы провели на конном заводе почти целый день. Осматривали жеребят, перед нами проводили потомство араба — двухлеток и трехлеток. Ни одна из его дочерей не унаследовала даже масти отца.

В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места.

— Для путешествий страна наша пока совсем не приспособлена,— говорил он.— Гостиницы ужасные, кровати плохие, с серыми убогими одеялами, ничем не покрытые столы...

Из Кисловодска Бабель проводил меня на станцию Минеральные Воды, и я уехала.

Вскоре по возвращении в Москву я получила от Бабеля письмо из станицы Пришибской. Хорошо запомнились строки:

«Живу в мазаной хате с земляным полом. Тружусь. Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул: «Федор, сруководи-ка лампу!»

А незадолго до Нового года я получила письмо, в котором Бабель писал:

«Я человек суеверный и непременно хочу встретить Новый Год с вами. Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку, буду встречать».

Приглашение Бабеля было предложением жить в будущем вместе. И мой приезд в Горловку 31 декабря означал, что я это предложение приняла.

Бабель встретил меня в Горловке в дубленом овчинном полушубке, меховой шапке и валенках и повез к Вениамину Яковлевичу Фуреру, секретарю Горловского горкома, у которого остановился.

Фурер был знаменитым человеком, о нем много писали. Прославился он тем, что создал прекрасные по тем временам условия жизни для шахтеров и даже дорогу от их общежития до шахты обсадил розами. Бабель говорил:

— Тяжелый и грязный труд шахтеров Фурер сделал почетным, уважаемым. Шахтеры — первые в клубе, их хвалят на собраниях, им дают премии и награды;

они самые выгодные женихи, и лучшие девушки охотно выходят за них замуж.

Мы встретили новый, 1934 год втроем — Фурер, Бабель и я. Жена Фурера, балерина Харьковского театра Галина Лерхе, приехать на Новый год не смогла.

Квартира Фурера в Горловке, большая и почти пустая, была обставлена только необходимой и очень простой мебелью. Хозяйство вела веснушчатая, очень бойкая девчонка, веселая и острая на язык. Она говорила Фуреру правду в глаза и даже им командовала; он покорно ей подчинялся, и это его забавляло.

— Преданный человек и, как ни странно, помогает в моей работе — не дает стать чиновником,— говорил Фурер.

Он был очень красив. Высокий, хорошо сложенный, с веселыми светлыми глазами и кудрявой белокурой головой. «Великолепное создание природы»,— говорил про него Бабель.

За столом под Новый год Фурер смешно рассказывал, как его одолевают корреспонденты, какую пишут они чепуху и как один из них, побывавший у его родителей, написал: «У стариков Фureров родился кудрявый мальчик». Бабель весело смеялся, а потом часто эту фразу повторял.

В Горловке Бабель захотел спуститься в шахту — посмотреть на работу забойщиков. К нам присоединился приехавший в Горловку писатель Зозуля. В душевой мы переоделись в шахтерские комбинезоны, на грудь каждому из нас повесили лампочку и в клети «с ветерком» спустили на горизонт 630. С нами были инженер и начальник смены. Разрабатывался наклонный, под углом 70°, пласт угля толщиной около двух метров, расположенный между горизонтами 630 и 720.

В очень небольшое отверстие первым спустился инженер, потом я, затем начальник смены, Бабель и последним Зозуля. Спускаться надо было в темноте, при свете наших довольно тусклых лампочек; воздух был насыщен угольной пылью, она сразу же забила нос, рот, глаза.

Бревна, распирающие породу там, где пласт угля был уже выработан, располагались с расстоянием от 1,5 до 1,7 метра одно от другого, поэтому спуск был чрезвычайно сложным, приходилось все время пребывать в каком-то распятом состоянии, стараясь вытянуться как можно больше. При этом было совершенно нечем дышать и почти ничего не видно. Руки и ноги вскоре онемели, сердце заколотилось, и я, например, была в таком отчаянии, что готова была опустить руки и упасть вниз. Но идущий впереди все-таки помогал мне и в отдельных случаях просто брал мою ногу и с силой ставил ее на бревно. Поневоле руки мои отрывались от верхних бревен. Так, дойдя до полного отчаяния, я вдруг коснулась спиной породы и почувствовала облегчение. Опираясь спиной, спускаться было уже много легче, но никто раньше об этом мне не сказал. Волнуясь за Бабеля (рост его ненамного превышал мой, к тому же он страдал астмой), я просила идущего за мной начальника смены помочь ему и сказать, чтобы он опирался спиной.

Справа от нас рубили уголь; он сыпался вниз; везде, где были рабочие, ругань стояла невообразимая. Это было традицией, без этого не умели добывать уголь. В одном месте мы передвинулись ближе к забою. Уголь искрился и сверкал при свете лампочек. Это был настоящий антрацит.

Бабель с забойщиками не разговаривал,— очевидно,

говорить ему было трудно. Я взглянула на него. Лицо его было совершенно черное, как и у всех остальных, белели только белки глаз и зубы. Он тяжело дышал.

Мы начали спускаться дальше; показалось, что стало легче, может быть, стал более наклонным пласт. Последние несколько метров съехали просто на спине в кучу угля и чуть-чуть не угодили в вагонетку. Спустившись по приставной лесенке, мы оказались в довольно большой штольне, потолок и стены ее были побелены и воздух чист. Как ни предупреждал начальник смены откатчиков: «Тише: женщина!» — мат не прекращался. А какой-то веселый паренек, увидев, что появились гости, с восторгом закричал: «Идите в насосную, вот где ругаются, красота!» Бабель сказал: «Там, в насосной, более образованные люди, поэтому и ругань изысканней!»

Смысл ругательств здесь полностью утрачивался, оставалась только внешняя форма, не лишенная изобретательности, даже поэтичности: в насосной виртуозно ругались стихами, кто под Пушкина, а кто под Есенина; можно было различить размер и стиль.

Поднялись на поверхность и пошли отмываться в душевую, где вода была какая-то особенная — конденсат отработанного пара, поэтому уголь смывался очень хорошо. У всех остались только ободки вокруг глаз, что могло отмыться лишь через несколько дней. Сели в машину и поехали осматривать коксо-химический завод.

Большие цехи с какими-то агрегатами, покрытыми инеем, работали автоматически; рабочих нигде не было, только наблюдающий инженер. Температура в этих агрегатах, наполненных аммиаком, очень низкая. В результате их работы получалось удобрение для полей. Я ходила с трудом — так ныло у меня все тело, особен-

но трудно давались спуски и подъемы — хождение по этажам.

Лицо Бабеля было спокойно и вид такой, как будто он и не проходил только что через угольный ад. Он всем интересовался и задавал инженеру вопросы.

Фурер отсутствовал два дня — ездил к жене в Харьков. Возвратившись, он с воодушевлением рассказывал о своих планах преобразования Горловки: здесь будет больница, там — городской парк, а там — театр. Он мечтал о сокращении рабочего дня шахтера до четырех часов в день.

Из Горловки 20 января 1934 года Бабель писал своей матери:

«Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции».

В том же 1934 году мы вместе с Фурером и Галиной Лерхе были на авиационном параде в Тушине. Проезжая по какой-то боковой улочке, чтобы избежать потока машин, направлявшихся в Тушино, мы увидели склад с надписью: «Брача песка строго воспрещается». Эта надпись дала повод Бабелю вспомнить целый ряд таких же курьезных объявлений, вроде: «Рубить сосны на елки строго воспрещается» (видел в Крыму).

Парад смотрели с крыши административного здания, где собрались знатные гости, и стояли рядом с А. Н. Туполевым. Впереди, ближе к парапету, стоял Сталин и другие члены правительства.

Некоторое время спустя мы еще раз встретились с Фурером, когда были приглашены на творческий вечер

Галины Лерхе, его жены. Вечер был устроен в каком-то клубе, кажется, на улице Разина; зал был небольшой, но набит битком. Танцы Галины Лерхе, характерные и выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они «в стиле Айседоры Дункан», которую он знал...

...В январе 1934 года, когда мы с Бабелем уезжали из Горловки, веселый и полный надежд Фурер провожал нас на вокзал.

На Николо-Воробинском нас встретил Штайнер, очевидно уже подозревавший, что «джентльменское соглашение» с Бабелем (никаких женщин в доме) грозит нарушиться. Мы же решили, что надо подготовить его к этому постепенно, и поэтому через несколько дней сняли для меня комнату на 3-й Тверской-Ямской в трехкомнатной квартире одного инженера; кроме супругов в этой квартире жила домработница Устя, веселая, уже немолодая женщина. Она любила порассказать о жизни своих хозяев, и тогда Бабеля нельзя было от нее увести. Особенно веселил его обычный ответ Усти на мой вопрос по телефону: «Как дома дела?» — «Встренем — поговорим».

Раздельная жизнь наша продолжалась всего несколько месяцев. Штайнер сам предложил Бабелю, чтобы я переехала на Николо-Воробинский, и уступил мне одну из своих двух верхних комнат, считая ее более для меня удобной, чем вторая комната Бабеля. Очень скоро после этого вторую комнату Бабель отдал соседу из другой половины дома. Дверь из нее была заложена кирпичом, и наверху осталось три комнаты.

Рабочая комната Бабеля служила ему и спальней; она была угловой, с большими окнами. Обстановка этой комнаты состояла из кровати, замененной впоследствии

тахтой, платяного шкафа, рабочего стола, возле которого стоял диванчик с полужестким сиденьем, двух стульев и книжных полок. Полки были заказаны Бабелем высотой до подоконника и во всю длину стены, на них устанавливались нужные ему и любимые им книги, а наверху он обычно раскладывал бумажные листки с планами рассказов, разными записями и набросками. Эти листки, продолговатые, шириной около 10 см и длиной 15—16 см, он нарезал сам и на них все записывал. Работал он или сидя на диване, часто поджав под себя ноги, или прохаживаясь по комнате. Он ходил из угла в угол с суровой ниткой или тонкой веревочкой в руках, которую все время то наматывал на пальцы, то разматывал. Время от времени он подходил к столу или к полке и что-нибудь записывал на одном из листков. Потом хождение и обдумывание возобновлялись. Иногда он выходил и за пределы своей комнаты; а то зайдет ко мне, постоит немного, не переставая наматывать веревочку, помолчит и уйдет опять к себе. Однажды в руках у Бабеля появились откуда-то добытые им настоящие четки, и он перебирал их, работая; но дня через три они исчезли, и он снова стал наматывать на пальцы веревочку или суровую нить. Сидеть с поджатыми под себя ногами он мог часами; мне казалось, что это зависит от телосложения.

Рукописи Бабеля хранились в нижнем выдвижном ящике платяного шкафа. И только дневники и записные книжки находились в металлическом, довольно тяжелом, ящичке с замком.

Относительно своих рукописей Бабель запугал меня с самого начала, как только я поселилась в его доме. Он сказал мне, что я не должна читать написанное им начерно и что он сам мне прочтет, когда это будет го-

тово. И я никогда не нарушала этот запрет. Сейчас я даже об этом жалею. Но проницательность Бабеля была такова, что мне казалось — он видит все насквозь. Он сам признавался мне, как Горький, смеясь, сказал как-то: «Вы — настоящий соглядатай. Вас в дом пускать страшно». И я, даже когда Бабеля не было дома, побаивалась его проницательных глаз.

К тому времени я уже поступила на работу в Метропроект, занимавшийся тогда проектированием первой очереди Московского метрополитена.

Бабель относился к моей работе очень уважительно и притом с любопытством. Строительство метрополитена в Москве шло очень быстро, проектировщиков торопили, и случалось, что я брала расчеты конструкций домой, чтобы дома закончить их или проверить. У меня в комнате Бабель обычно молча перелистывал папки с расчетами, а то утаскивал их к себе в комнату, и если у него сидел кто-нибудь, то показывал ему и хвастался: «Она у нас математик,— услышала я однажды,— вы только посмотрите, как все сложно, это вам не сценарии писать...»

Составление же чертежей, что мне тоже иногда приходилось делать дома, казалось Бабелю чем-то непостижимым. Но непостижимым было тогда для меня все, что умел и знал он.

До знакомства с Бабелем я читала много, но без разбору, все, что попадется под руку. Заметив это, он сказал:

— Это никуда не годится, у вас не хватит времени прочитать сто̀ящие книги. Есть примерно сто книг, которые каждый образованный человек должен прочесть обязательно. Я как-нибудь составлю вам список этих книг.

И через несколько дней он принес мне этот список. В него вошли древние (греческие и римские) авторы — Гомер, Геродот, Лукреций, Светоний,— а также все лучшее из более поздней западноевропейской литературы, начиная с Эразма Роттердамского, Свифта, Рабле, Сервантеса и Костера, вплоть до таких писателей XIX века, как Стендаль, Мериме, Флобер.

Однажды Бабель принес мне два толстых тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых».

— Я купил это для вас в букинистическом магазине,— сказал он,— и хотя в список я эту книгу не включил, прочитать ее необходимо. Вы прочтете с удовольствием.

И действительно, написана она так живо и занимательно, что читалась как детективный роман.

Летом 1934 года и в последующие годы мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтобы он играл. У него был чисто спортивный интерес к лошадям.

Он бывал на тренировках и в конюшнях наездников гораздо чаще, чем на самих бегах. Скачками он интересовался меньше. Но люди, встречавшиеся на бегах, азартно играющие, и разговоры их между собой очень его интересовали. На ипподроме он жадно ко всему прислушивался, внимательно присматривался и часто тащил меня из ложи куда-то наверх, где толпились игроки, наиболее азартные, складывавшиеся по нескольку человек, чтобы купить один, но, как им казалось, беспроигрышный билет.

Впоследствии по одной домашней примете я научилась безошибочно узнавать, что Бабель уехал к лошадям: в эти дни из сахарницы исчезал весь сахар.

Театр Бабель посещал не очень часто, с большой

осторожностью, но зато на «Мертвые души» в Художественный ходил каждый сезон.

Хохотал он во время представления «Мертвых душ» так, что мне стыдно было сидеть с ним рядом. Я не знаю другой пьесы, которую Бабель любил бы больше этой.

Когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария» в Художественном театре, то рассказывал мне, что актрисам очень не терпелось узнать, что же это за главная героиня и кому будет поручена ее роль.

Оказалось, что главная героиня отсутствует. Бабель считал, что пьеса ему не удалась, но, впрочем, сам он ко всем своим произведениям относился критически.

Ни оперу, ни оперетту Бабель не любил. Пение же, особенно камерное, слушал с удовольствием и однажды пришел откуда-то восхищенным исполнением Кето Джапаридзе.

Однажды я возвратилась из театра и застала у Бабеля гостей, то были журналисты, среди которых знакомым мне был только В. А. Регинин. Я увидела Бабеля, бледного от усталости, прижатого к стене журналистами, о чем-то его выспрашивавшими. Я набралась храбрости, подошла к ним и сказала:

— Разве вы не знаете, что Бабель не любит литературных разговоров?!

Они отошли, а Регинин сказал: «Ну, поговорим в другой раз»,— и все ушли.

...Нелюбовь Бабеля к литературным интервью граничила с нетерпимостью. От дочери М. Я. Макотинского, Валентины Михайловны, мне известен, например, такой эпизод: когда В. М. Инбер попыталась однажды (в 1927-м или 1928 году) расспросить Бабеля и узнать,

каковы его ближайшие планы, он ответил: «Собираюсь купить козу...»

Киноэкран привлекал Бабеля всегда.

Фильм «Чапаев» мы с ним ходили смотреть на Таганку. Он вышел из кинотеатра потрясенный и сказал: «Замечательный фильм! Впрочем, я — замечательный зритель; мне постановщики должны были бы платить деньги как зрителю. Позже я могу разобраться — хорошо или плохо сыграно и как фильм поставлен, но пока смотрю — волнуюсь и ничего не замечаю. Такому зрителю нет цены».

* * *

Летом 1934 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Мальро. Это был довольно высокий и очень изящный человек, слегка сутулившийся, с тонким лицом, на котором выделялись большие, всегда серьезные глаза. Нервный тик то и дело проходил по его лицу. У него были темно-русые, гладко зачесанные назад волосы, одна прядь их часто падала на лоб. Движением руки или головы он отбрасывал ее назад.

Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс. Со мною был фотоаппарат, и мне захотелось снять Уэллса. Подвигаясь ближе к нему и смотря в аппарат, я нечаянно наступила на ногу японскому послу и смутилась. Бабель, заметив это и стремясь сгладить мою неловкость, с улыбкой спросил его: «Скажите, правда ли, что у вас в Японии размножаются почкованием?» Тот весело засмеялся, что-то шутливо ответил, и все

было замято. Мне же Бабель тихо сказал: «Из-за вас у нас могли быть неприятности с японским правительством. Надо быть осторожнее, когда находишься среди послов». Снимать я больше не пыталась. Трибуна для иностранных гостей находилась близко от Мавзолея, и стоявшим на ней был хорошо виден Сталин в профиль. После парада мы направились в «Националь» обедать. За обедом Мальро все обращался ко мне с вопросами о том, какое место занимает любовь в жизни советских женщин, как они переживают измену, как относятся к девственности. Я отвечала, как могла. Бабель переводил мои ответы и, наверное, придавал им более остроумную форму. Во всяком случае, Мальро с самым серьезным видом кивал головой.

В тот же приезд Мальро сказал, что «писатель — это не профессия». Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, живут в обособленных домах, имеют дачи, дома отдыха, санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то раз сказал:

— Раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником. Напротив обитала толстуха прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что?

Летом 1935 года в Париже состоялся Конгресс защиты культуры. От Советского Союза туда была послана делегация писателей, к ней присоединился находившийся тогда во Франции Илья Эренбург.

Возвратившись из Парижа, Бабель рассказывал, что всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами: «Я болен, я не хотел ехать, я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах... Не хочу ехать, я болен, я не могу!» «Я замучился с ним,— говорил Ба-

бель,— а когда приехали в Париж, собрались втроем — я, Эренбург и Пастернак — в кафе, чтобы сочинить Борису Леонидовичу хоть какую-нибудь речь, потому что он был вял и беспрестанно твердил: «Я болен, я не хотел ехать». Мы с Эренбургом что-то для него написали и уговорили его выступить. В зале было полно народу, на верхних ярусах толпилась молодежь. Речь Всеволода Иванова была в основном о том, как хорошо живут писатели в Советском Союзе, как много они зарабатывают, какие имеют квартиры и т. д. А когда вышел Пастернак, растерянно и по-детски оглядел всех и неожиданно сказал: «Поэзия... ее ищут повсюду... а находят в траве...» — раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял: все в порядке, он может больше ничего не говорить».

О своей речи Бабель мне не рассказывал, но впоследствии от И. Г. Эренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на хорошем французском языке, что употреблял он много остроумных выражений и что аплодировали ему бешено и кричали, особенно молодежь.

Бабель написал матери и сестре из Парижа 27 июня:

«Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее, импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи) имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать как волк в поисках материалов,— хочу привести в систему мои знания о ville lumière — и, может быть, опубликовать их» [1].

Однажды я попросила Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи

[1] Эта публикация Бабеля о Париже появилась в журнале «Пионер», 1937, № 3 (март).

Бабеля на конгрессе. Он говорил об этом с Мальро, но оказалось, что все материалы погибли во время войны.

В апреле 1936 года Бабель ездил к Алексею Максимовичу Горькому в Тессели вместе с Андре Мальро, его братом Ролланом и Михаилом Кольцовым. Возвратившись, он рассказал мне, что Мальро обратился к Горькому с предложением о создании «Энциклопедии XX столетия», которая имела бы такое же значение для духовного развития человечества, как «Энциклопедия XVIII столетия», основателем и главным редактором которой был Дени Дидро. Такая «Энциклопедия» должна была, по плану Мальро, стать основным литературным, историческим и философским оружием в борьбе за гуманизм, против фашизма. Предполагалось, что в составлении такого грандиозного труда примут участие ученые и писатели почти всех стран мира и что «Энциклопедия» будет издана одновременно на четырех языках — русском, французском, английском и испанском. А. М. Горький, по словам Бабеля, одобрил идею создания такой «Энциклопедии».

Однако взаимопонимание между Горьким и Мальро обнаружилось только по вопросу о создании «Энциклопедии». По всем остальным вопросам, которые задавал Мальро Горькому и которые касались свободы искусства и личности, а также оценки произведений таких писателей, как Достоевский и Джойс, Горький и Мальро оказались почти на противоположных позициях.

Переводчиками Мальро в этих беседах были Михаил Кольцов и Бабель. Бабель жаловался мне, что эта миссия была трудной, приходилось быть и переводчиком и дипломатом в одно и то же время.

— Горькому не легко дались эти беседы,— говорил

Бабель,— а Мальро, уезжая из Тессели, был мрачен: ответы Горького не удовлетворили его.

В этот второй свой приезд в СССР Андре Мальро несколько раз бывал у нас дома. Бабель любил подшутить над ним и называл его по-русски то Андрюшкой, то Андрюхой, а то подвинет к нему какое-нибудь блюдо, уговаривая: «Лопай, Андрюшка!» Тот же, не понимая по-русски, только улыбался и продолжал говорить. Как человек нервный и очень темпераментный, он говорил всегда быстро и взволнованно.

Как-то у нас дома я задала Мальро банальный вопрос: как понравилась ему Москва? В то время в Москве недавно открыли первую линию метро, и всем иностранцам непременно ее показывали. Мальро ответил на мой вопрос кратко: «Un peu trop de metro» (Многовато метро).

Мой отпуск в 1935 году совпал с поездкой Бабеля по Киевщине для сбора материала и подготовки номера журнала «СССР на стройке» на тему «Свекла».

Мы приехали в Киев, остановились в гостинице «Континенталь». Бабель встретился там с П. П. Постышевым, который выделил ему для поездки две машины и сопровождающих. Бабель сказал мне, что Постышев на Украине пользуется большой популярностью, что он добрый человек, любит детей и делает для них много хорошего.

Мы направились в те колхозы, где выращивали свеклу. С нами из Москвы ехал фотограф Г. Петрусов, главное действующее лицо, так как журнал «СССР на стройке» обычно состоял из одних фотоснимков с пояснительным текстом; Бабель должен был участвовать

в общей композиции номера и написать к фотоснимкам «слова».

Останавливались мы в колхозах. Бабель с Петрусовым и представителями ЦК Украины заходили в колхозные правления и вели там обстоятельные беседы о том, что, где и как снимать.

Однажды нас привезли на ночлег в какой-то колхоз, который был так богат, что имел в сосновом лесу собственный санаторий. Лес был саженный рядами на белом песке — в нем утопали ноги. Бабель рассказал мне, что этот колхоз имел очень мало пахотной земли и его председатель придумал выращивать на этой земле только семена овощей и злаков; теперь колхоз поставляет семена всей области, а взамен получает хлеб и все, что ему нужно. Мы переночевали в пустом санатории, пустом потому, что он летом служил для отдыха детей, а зимой там отдыхали взрослые, но дети уже пошли в школу, а взрослые еще не управились с уборкой.

Утром мы пошли завтракать в колхозную столовую. Село состояло из белых хат, утопающих в зелени садов, огороженных плетнями. Возле каждого дома — широкая скамья. Встретили женщину в украинском наряде, очень чистом. Она бежала домой с поля покормить ребенка. Бабель с нею немного поговорил, пока нам было по пути, и она рассказала, что работать в колхозе много легче и веселее, чем раньше, когда хозяйство было свое.

Столовая была расположена в центре колхозного двора, сплошь забитого гусями, утками и курами.

На завтрак нам дали по тарелке жирного супа с гусятиной и картошкой, затем жареного гуся, тоже с картошкой, и потом арбуз. На обед и ужин было то же са-

мое, так что на следующий день мы больше уже не могли смотреть даже на живых гусей.

Утром, прихватив с собой чай и ложечку для заварки, которую Бабель всегда возил с собой, он отправился на кухню, и после переговоров с поварихой мы наконец получили крепкий чай и набросились на него с жадностью.

Мы оставались в этом колхозе три дня. Бабель изучил хозяйство, на этот раз не имеющее отношения к свекле. Присутствовали мы также на празднике открытия в колхозе школы-десятилетки. Праздник проходил в большом зале школы на втором этаже. Был накрыт длинный стол, приглашены все учителя, приехали гости из Киева. Произносились речи, где говорилось о том, что в школе преподают большей частью свои, выучившиеся в Киеве или Москве и возвратившиеся в село, юноши и девушки. Их заставляли показаться, они вставали и смущались.

На другое утро, покинув этот колхоз, мы проезжали полями, где шла уборка свеклы, она была навалена всюду целыми горами. Уборка и обрезка ее от ботвы производилась вручную. Женщины острыми ножами ловко отсекали ботву и корешки.

Обратный путь в Киев пролегал роскошным лесом. Остановились в одном бывшем помещичьем имении на берегу прелестной реки Рось, текущей по крупным валунам. Поместье было превращено в санаторий для железнодорожников; нам показали дом, парк и сиреневую горку, большой холм, сплошь усаженный кустами сирени, с тропинками и скамьями меж кустов...

В Киеве Бабель встречался со старыми своими друзьями — Шмидтом, Туровским и Якиром. В сентябре этого года там проводились военные маневры, и Якир

пригласил на них Бабеля. Маневры продолжались несколько дней, Бабель возвращался усталый и говорил, что было «внушительно и интересно». Особенное впечатление произвели на него маневры танков и воздушный десант с огромным числом участвующих в нем парашютистов. И еще запомнился мне один рассказ Бабеля, как на маневрах провинился чем-то командир полка Зюка. Якир вызвал его и отчитал, а тот обиделся. «Товарищ начарм,— сказал он,— поищите себе другого комполка за триста рублей в месяц». Откозырял и ушел.

Якир и всеобщий любимец веселый Зюка были большими друзьями.

После маневров мы были приглашены к командиру танковой дивизии Дмитрию Аркадьевичу Шмидту, в его лагерь на Днепре. Нас угощали там пахнущей дымом костра пшенной солдатской кашей. Ели из солдатских котелков, из солдатских кружек пили чай.

В Киеве, проходя со мной по бульвару Шевченко, Бабель показал мне дом, где была квартира Макотинских, служившая ему пристанищем в 1929—1930 годах.

О Михаиле Яковлевиче Макотинском он рассказывал: при белых в Одессе были расклеены объявления, что за голову большевика Макотинского будет выплачено 50 тысяч золотых рублей. Чтобы не попасть в тюрьму, он симулировал сумасшествие, и врачебная экспертиза Одесской психиатрической больницы не могла разгадать обмана.

— Когда его сняли с работы,— говорил Бабель,— он нанялся дворником на ту улицу, где было его учреждение. Его бывшие сотрудники шли на работу, а он в дворницком переднике подметал тротуар...

Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию

искать жилье. Сняли две комнаты, расположенные в разных уровнях, с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника; его ограничивал деревянный забор по самому краю обрыва к морю, и узкая деревянная лесенка со множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка, муж которой был рыбаком, а обедать мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красную», а иногда в «Лондонскую».

В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красной» на Пушкинской улице разместилось много московских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнатке рядом с главным входом жил Юрий Карлович Олеша.

После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате или по обширному участку вдоль моря. Както я спросила его, о чем он все время думает.

— Хочу сказать обо всем этом,— и он обвел рукой вокруг,— минимальным количеством слов, да ничего не выходит; иногда же сочиняю в уме целые истории...

На столе в комнате лежали разложенные Бабелем бумажки, и он время от времени что-то на них записывал. Но, даже проходя мимо стола, я на них не смотрела, так строг был бабелевский запрет.

Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я и не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будил он меня завтракать, когда они уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жаренные на постном масле бычки. Обедать мы уходили в город, когда слегка спадала жара. Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блю-

да, как баклажанную икру со льда, баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры.

После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией. Или заходили за Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда мы забирались в очень отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где жили его знакомые или родственники и где он бывал.

В Одессе в 1935 году Бабель водил меня на кинофабрику посмотреть его фильм «Беня Крик», снятый режиссером В. Вильнером. Картину эту он считал неудавшейся.

Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Л. И. Славин взяли рядом по участку земли где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод. Дом так и не был построен. Место было голое, на крутом берегу моря. Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в тех местах какой-то особенный: кругом — море и степь.

Бабель часто бывал у А. М. Горького, и тогда, когда жил в Молоденове, и когда приходилось ездить туда из Москвы. Но он каждый раз незаметно исчезал, если в доме собиралось большое общество и приезжали «высокие» гости. Один раз из-за этого он вернулся в Москву очень рано, я была дома и открыла на звонок дверь. Передо мной стоял Бабель с двумя горшками цветущих цинерарий в руках.

— Мяса не привез, цветы привез,— объявил он.

Возвращаясь от Горького, из Горок, Бабель иногда передавал мне слышанные от Алексея Максимовича его

воспоминания о прошлом, рассказанные за обеденным или чайным столом.

Старый быт дореволюционного Нижнего и Нижегородского Поволжья владел памятью Горького, и она была неистощима. То вспоминал он об одном купце, который предложил красивой губернаторше раздеться перед ним донага за сто тысяч. «И ведь разделась, каналья!» — восклицал Горький. То рассказывал, что в Нижнем была акушерка по фамилии Нехочет: «Так на вывеске и было написано: «Нехочет». Ну что с ней поделаешь — не хочет и все тут», — смеялся Горький. Вспоминал также об одном селе, где жители изготовляли только казацкие нагайки; и там же, в этом селении, услышал он «крамольную» песню и приводил ее слова с особыми ударениями, более обычного налегая на «о»:

Как на улице но́во́й
Сто́ит сто́лик дубо́во́й,
Сто́ит сто́лик дубо́во́й,
Сидит писарь молодой.
Пишет писарь полсела
В государевы дела,
Государевы дела —
Они правы завсегда...

Все это рассказывалось в узком кругу лиц, близких или же просто приятных Горькому, когда он неизменно бывал веселее.

Весной 1934 года совершенно неожиданно заболел и умер сын Горького Максим. По этому поводу Бабель, незадолго перед тем похоронивший своего друга Эдуарда Багрицкого, писал 18 мая своей матери и сестре:

«Главные прогулки по-прежнему на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмот-

ря на это, выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик еле двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии; сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много вечеров за бутылкой Кианти...»

Иногда Бабель по нескольку дней жил в доме Алексея Максимовича в Горках. Это бывало тогда, когда он выполнял по поручению Горького какую-нибудь работу. В такие дни общение Бабеля с ним было наиболее тесным и разговоры касались главным образом литературы. Мне запомнилось одно признание Горького, переданное мне Бабелем:

«Сегодня старик вдруг разговорился со мной и сказал: «Написал одну по-настоящему стоящую вещь — «Рассказ о безответной любви»,— а никто и не заметил».

Об этом периоде Бабель писал 18 июня 1934 года:

«Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь. По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий».

В этом письме речь идет о сценарии по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», который Бабель тогда начинал писать.

Зиму и весну 1936 года Горький провел в Крыму, на своей даче в Тессели. Возвратившись оттуда в середине мая, он, как известно, заболел гриппом, который быстро перешел в воспаление легких. Положение стало угрожающим.

Еще 17 июня Бабель писал своей матери:

«Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает André Gide. Поеду его встречать!!»

Как и многие друзья Горького, Бабель в эти дни испытывал мучительную тревогу и часто звонил на Малую Никитскую, надеясь узнать что-либо утешительное. Надежды — увы — не оправдались, и 18 июня наступил конец.

На другой день Бабель написал об этом матери:

«...Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память это значит — жить и работать. И то и другое делать хорошо.

Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба...»

Сосед Бабеля по московской квартире Штайнер, холостяк, отличавшийся необыкновенной аккуратностью, был предметом многих насмешек и выдумок Бабеля.

Меня он тоже не щадил. Узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от тринадцати до семнадцати лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всем рассказывал, что женился на поповской дочке, что поп приезжает к нему в гости и они пьют из самовара чай. Паустовский долгое время был убежден, что это правда. Однако мой отец умер в 1923 году, то есть задолго до того, как я по-

знакомилась с Бабелем, и никогда не имел никакого отношения к церкви. Но Бабеля это не остановило. Ему нравилась сама ситуация — еврей и поп. А когда он меня с кем-нибудь знакомил, то любил представлять так: «Познакомьтесь, это девушка, на которой я хотел бы жениться, но она не хочет»,— хотя я давно уже была его женой.

Бабель часто говорил, что он «самый веселый человек из членов Рабиса». Веселью он придавал большое значение. Поздравляя кого-нибудь с Новым годом, он мог написать: «Желаю вам веселья, как можно больше веселья, важнее ничего нет на свете...»

Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, когда Бабель еще спал. Вставая же, он пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя... В доме был культ чая. «Первач» — то есть первый стакан заваренного чая — Бабель редко кому уступал. Обо мне не шла речь: я была к чаю равнодушна и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами: «Обратите внимание: отдаю вам первач». Завтракал Бабель часов в двенадцать дня, а обедал часов в пять-шесть вечера. К завтраку и обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться, но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно,— в Метропроекте, где я тогда работала, засиживались, как правило, часов до восьми-девяти.

Из Метропроекта я часто звонила домой, чтобы узнать, все ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала: «Ну как дома дела?», на что Бабель мог ответить:

— Дома все хорошо, только ребенок ел один раз.
— Как так?
— Один раз... с утра до вечера...

Или о нашей домашней работнице Шуре:

— Дома ничего особенного, Шура на кухне со своей подругой играет в футбол... Грудями перебрасываются.

Бабель не имел обыкновения говорить мне: «Останьтесь дома» или: «Не уходите». Обычно он выражался иначе:

— Вы куда-нибудь собирались пойти вечером?
— Да.
— Жаль,— сказал он однажды.— Видите ли, я заметил, что вы нравитесь хорошим людям, и я по вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал вас с ним познакомить.— Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел и проверить, хороший ли он человек, Бабелю не удалось. Иногда он говорил:

— Жалко, что вы уходите. А я думал, что мы с вами устроим развернутый чай...

«Развернутым» у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения я никогда не могла устоять. Бабель сам заваривал чай, и мы садились за стол.

— Настоящего чаепития теперь не получается,— говорил Бабель.— Раньше пили чай из самовара и без полотенца за стол не садились. Полотенце — чтобы пот вытирать. К концу первого самовара вытирали пот со лба, а когда на столе второй самовар, то снимали рубаху. Сначала вытирали пот на шее и на груди, а

когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек н а п и л с я чаю. Так и говорили: «Пить чай до бисера на животе».

Пил Бабель чай с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм.

Часто бывал он в народных судах, где слушал дела, изучая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в женскую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Е. М. Сперанская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился и часами слушал жалобы женщин на соседей и мужей.

Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля, написанного по материалам судебной хроники, который он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, без всякого юридического образования, не искушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор.

Однажды с какими-то знакомыми Бабеля, журналистами из Стокгольма, приехал в СССР молодой швед Скуглер Тидстрем. Высокий, с розовым лицом и изжелта-белыми, как седина, волосами. Журналисты сказали Бабелю, что Скуглер приехал как турист, но, придерживаясь коммунистических взглядов, хотел бы остаться в Советском Союзе. Бабель почему-то оставил его жить у нас и сбросил на мое попечение.

Молодой человек целыми днями сидел в комнате,

читал и что-то записывал в толстые, в черной клеенке тетради. Однажды я спросила его, что он пишет. Оказалось, что он по-русски конспектирует труды Ленина. Русский язык он учил еще в Стокгольме, а говорить по-русски научился уже в СССР.

Бабель рассказал мне, что Скуглер происходит из богатой семьи: его старший брат — крупный фабрикант. Но Скуглер увлекся марксизмом и отказался от унаследованного богатства; он ненавидит своего брата-эксплуататора, приехал к нам изучать труды Ленина и хочет жить и работать в СССР. «Прямо не знаю, что с ним делать»,— сказал Бабель. Он несколько раз продлевал шведу визу, упрашивая об этом кого-то из влиятельных своих друзей.

Вскоре Скуглер, познакомившись с какой-то очень невзрачной девушкой, со щербинками на лице и черной челкой, влюбился в нее. Мы с Бабелем видели как-то их вместе на ипподроме. Затем эта девушка изменила Скуглеру, и он сошел с ума. Помешательство было буйным, его забрали в психиатрическую лечебницу. Бабель часто навещал его. Как-то раз приходит он из больницы и говорит:

— Врачи считают, что Скуглер неизлечим. Придется вызвать брата.

Брат приехал вместе с санитаром. Скуглера надо было забрать из лечебницы, привезти на вокзал и посадить в международный вагон. Опасен был путь пешком от машины до вагона. Бабель предложил мне пройти со Скуглером этот путь. Я волновалась ужасно: не шутка вести под руку буйного сумасшедшего.

Скуглер был весел, рад встрече, спрашивал меня о моей работе. Так, болтая, мы потихоньку дошли до вагона и вошли в купе.

Все сошло благополучно. А позже Бабель узнал и рассказал мне:

— Когда поезд тронулся и брат вошел к Скуглеру в купе, тот буйствовал так, что разбил окно, пришлось его связать и так довезти до Стокгольма. Там его поместили в психиатрическую лечебницу...

А примерно через месяц Бабель стал получать от Скуглера письма. Подписывался он всегда так: «Ваш голубчик Скуглер». Дело в том, что когда он жил у нас, Бабель за обедом часто говорил: «Голубчик Скуглер, передайте соль» или еще что-нибудь в этом же роде.

Через несколько месяцев Скуглер совершенно вылечился, и его отпустили домой. Он тут же записался в Интернациональную бригаду и уехал воевать в Испанию. Спустя, может быть, месяц после этого Бабель вошел ко мне в комнату с письмом и газетной вырезкой.

— Скуглер,— сказал он,— погиб в Испании как герой. Франкисты окружили дом, где было человек сто республиканцев, и Скуглер, один, гранатами расчистил им путь к бегству из этого дома, а сам погиб. Так написано в этой испанской газете...

Вениамин Наумович Рискинд, веселый рассказчик и любимец Бабеля, впервые явился к нему в 1935 году летом и принес свой рассказ «Полк», написанный на еврейском языке. Впоследствии Бабель перевел этот рассказ на русский язык, и артист О. Н. Абдулов читал его со сцены и по радио.

После первого визита Рискинда Бабель сказал мне:

— Прошу обратить внимание на этого молодого человека еврейской наружности. Пишет он очень талантливо, из него будет толк.

Рискинд то приезжал в Москву, то исчезал куда-то, а когда приезжал, всегда появлялся в нашем доме, и Бабель охотно встречался с ним.

Рискинд писал рассказы и песни, хорошо пел и сам иногда сочинял музыку. Сюжеты его рассказов и песен всегда были очень трогательными, человечными, с налетом печали.

Рискиндом было задумано много киносценариев, но довести их до конца ему не удавалось.

Однажды Рискинд нашел случай поздравить меня оригинальным способом. Я получила правительственную награду как раз в тот год, когда награждали писателей. Ордена получили многие известные писатели. В день, когда я из газеты узнала о своем награждении, вдруг открылась дверь в мою комнату и появилась сначала рука с кругом колбасы, а потом Рискинд.

— Орденоносной жене неорденоносного мужа,— произнес он и вручил мне колбасу.

Мы тут же втроем организовали чай с колбасой необыкновенного вкуса — такую, помнилось мне, я ела только в раннем детстве. Оказалось, что брат Рискинда, колбасник, собственноручно приготовил эту колбасу.

Проделки Рискинда были разнообразны.

В один из его приездов зимой Бабель, смеясь, рассказал мне, что Рискинд зашел в еврейский театр; актеры репетировали в шубах и жаловались на холод; тогда он позвонил в райжилотдел и от имени заведующего Метеорологическим бюро чиновным голосом сказал: «На Москву надвигается циклон, и будет значительное понижение температуры. Необходимо как следует топить в учреждениях и особенно в театрах». На следующий день печи в театре пылали...

Жизнь Рискинда была беспорядочной, и Бабелю

очень хотелось приучить его к организованности и к ежедневному труду.

— Подозреваю, Вениамин Наумович,— сказал как-то Бабель,— что вы ведете в Москве беспутный образ жизни, тогда как должны работать. Я поручился за вас в редакции, что ваш рассказ будет сдан к сроку. Поэтому сегодня я ночую у вас в номере и проверю, спите ли вы по ночам.

— Исаак Эммануилович,— рассказал мне потом Рискинд,— действительно пришел, и мы ровно в двенадцать часов легли спать. Надо сказать, что я страшно беспокоился, как бы кто-нибудь из моих беспутных друзей-гуляк не вздумал притащиться ко мне среди ночи или позвонить по телефону. Беспокоился и не спал. И вдруг во втором часу ночи звонок. Бабель проснулся и произнес: «Начинается». А я, готовый убить приятеля, который позорит меня перед Бабелем, подбежал к телефону, снял трубку и услышал, как незнакомый мне женский голос спрашивает... Бабеля. Я, торжествуя, позвал: «Исаак Эммануилович, вас». Он был смущен, надел очки и взял трубку. Слышу — говорит: «Где он — не знаю, но что он в данный момент не слушает Девятую симфонию Бетховена, за это я могу поручиться». Затем, положив трубку, сказал: «Жена разыскивает своего мужа, кинорежиссера, с которым я днем работал. Должно быть, Антонина Николаевна дала ей ваш телефон...»

Этот бездомный, нищий, с вечной игрой воображения человек был интересен и близок Бабелю.

Бабель очень любил Соломона Михайловича Михоэлса и дружил с ним. О смерти его первой жены говорил: «Не может забыть ее, открывает шкаф, целует

ее платья». Но прошло несколько лет, Михоэлс встретился с Анастасией Павловной Потоцкой и женился на ней. Мы с Бабелем бывали у них дома, на Тверском бульваре, у Никитских ворот. Приходили вечером, Михоэлс зажигал свечи; у него были старинные подсвечники, и он любил сидеть при свечах. Комната была с альковом, заставленная тяжелой старинной мебелью. Мне она казалась мрачной. Иногда Михоэлс приходил к нам и великолепно пел еврейские народные песни. Встречались мы и в ресторанчике почти напротив его дома,— иногда он приглашал нас туда на блины. Бывали мы с ним и Анастасией Павловной и в доме Горького в Горках уже после смерти Алексея Максимовича, гостили там по два-три дня. Веселые рассказы Михоэлса перемежались с остроумными новеллами Бабеля. У Михоэлса был дар перевоплощения, он мог изобразить любого человека, и хотя внешне был очень некрасив, его необыкновенная одаренность позволяла это не замечать.

Бабель любил игру Михоэлса в «Путешествии Вениамина III», а пьесу «Тевье-молочник» мы с ним смотрели несколько раз, и я очень хорошо помню Михоэлса в обоих этих спектаклях; помню и какой он был замечательный король Лир.

Бабель часто заходил за мной к концу рабочего дня в Метропроект и обычно не один, а с кем-нибудь, просматривал нашу стенную газету, а потом смешно комментировал текст. Однажды Бабель зашел за мной вместе с Соломоном Михайловичем, а в стенной газете как раз была помещена статья под заголовком: «Равняйтесь по Пирожковой». Не помню уж, за что меня тогда хвалили.

Я кончила работу, и мы втроем отправились куда-то

обедать. Я и не знала, что Бабель и Михоэлс успели прочесть в газете статью. И двое моих спутников всю дорогу веселились, повторяя на все лады фразу: «Равняйтесь по Пирожковой». Перебивая друг друга, с разными интонациями, они то и дело вставляли в свои речи эти слова...

...Летом 1936 года мы с Бабелем уговорились, что он уедет в Одессу, а потом в Ялту, для работы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном над картиной «Бежин луг», и я в свой отпуск приеду туда.

Работа Бабеля с Эйзенштейном над этой картиной началась еще зимой 1935—1936 годов. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля, и когда я однажды после ухода Эйзенштейна хотела войти в комнату, Бабель меня не пустил.

— Одну минуточку,— сказал он.— Я должен уничтожить следы творческого вдохновения Сергея Михайловича...

Несколько минут спустя я увидела в комнате Бабеля горящую в печке бумагу, а на столе — газеты с оборванными краями...

— Что это значит? — спросила я.

— Видите ли, когда Сергей Михайлович работает, он все время рисует фантастические и не совсем приличные рисунки. Уничтожать их жалко — так это талантливо, но непристойное их содержание — увы! — не для ваших глаз. Вот и сжигаю...

Потом я уже знала, что сразу после ухода Эйзенштейна входить в комнату Бабеля нельзя...

Я выехала из Москвы в начале октября, в дождли-

вый, холодный, совсем уже осенний день. Бабель встретил меня в Севастополе, и мы поехали в Ялту в открытой легковой машине по дороге с бесчисленным количеством поворотов. Бабель не предупредил, когда откроется перед нами море. Он хотел увидеть, какое впечатление произведет на меня панорама, открывающаяся неожиданно из Байдарских ворот. От восторга у меня перехватило дыхание. А Бабель, очень довольный моим изумлением, сказал:

— Я нарочно не предупредил вас, когда появится море, и шофера просил не говорить, чтобы впечатление было как можно сильнее. Смотрите — вот там, внизу, Форос и Тессели, где была дача Горького, а вот здесь когда-то находился знаменитый на всю Россию и даже за ее пределами фарфоровый завод...

Сверкающее море, солнце, зелень и белая извивающаяся лента дороги — все это казалось невероятным после дождливой и холодной осени в Москве.

В первый же день по приезде, когда мы пошли в ресторан обедать, Бабель мне сказал:

— Пожалуйста, не заказывайте дорогих блюд. Мы обедаем вместе с Сергеем Михайловичем, а он, знаете ли, скуповат.

То была очередная выдумка Бабеля. У входа в ресторан мы встретились с Эйзенштейном и вместе вошли в зал. Тотчас какие-то туристы-французы вскочили с мест и стали скандировать: «Vive Эйзенштейн! Vive Бабель!» Оба были смущены.

Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены, Марианны Аркадьевны. За завтраком у нас Сергей Михайлович говорил: «А какие бублики я вчера ел у Мариан-

ны Аркадьевны!» И я с утра бежала в бубличную, чтобы купить к завтраку горячих бубликов. В следующий раз он объявлял: «Роскошные помидоры были вчера на завтрак у Тиссэ!» И я вставала чуть свет, чтобы купить на базаре лучших помидоров. Так продолжалось до тех пор, пока мы не разговорились однажды с Марианной Аркадьевной и не выяснили, что Сергей Михайлович точно так же ведет себя за завтраками у них. Раскрыв эти проделки Эйзенштейна, мы с Марианной Аркадьевной уже больше не старались превзойти друг друга.

После завтрака Бабель и Эйзенштейн работали над сценарием. Бабель писал к этой картине диалоги, но участвовал и в создании сцен. Обычно я, чтобы им не мешать, отправлялась гулять или выходила на балкон и читала. Часто они спорили и даже ссорились. После одной из таких довольно бурных сцен я, когда Эйзенштейн ушел, спросила Бабеля, о чем они спорили.

— Сергей Михайлович то и дело выходит за рамки действительности. Приходится водворять его на место,— сказал Бабель и объяснил мне, что была придумана сцена: старуха, мать кулака, сидит в избе; в руке у нее большой подсолнух, она вынимает из него семечки, а вместо них вставляет спички серными головками вверх; кулаки поручили эту работу старухе,— подсолнух должен быть подброшен возле бочек с горючим на МТС, а затем один из кулаков бросит на подсолнух зажженную спичку или папиросу; серные спичечные головки воспламенятся, загорится горючее, а затем и вся МТС.

— И вот старуха сидит в избе,— продолжает Бабель,— вынимает из подсолнуха семечки, втыкает вместо них головки спичек, а сама посматривает на иконы. Она понимает, что дело, которое она делает, совсем не божеское, и побаивается кары всевышнего. Эйзенштейн,

увлеченный фантазией, говорит: «Вдруг потолок избы раскрывается, разверзаются небеса, и бог Саваоф появляется в облаках... Старуха падает». Эйзенштейну так хотелось снять эту сцену,— сказал Бабель,— у него и раненый Степок бродит по пшеничному полю с нимбом вокруг головы. Сергей Михайлович сам мне не раз говорил, что больше всего его пленяет то, *чего нет* на самом деле,— «чегонетность». Так сильна его склонность к сказочному, нереальному! Но нереальность у нас не реальна,— закончил он.

Днем в хорошую погоду производились съемки «Бежина луга». Была выбрана площадка, построено здание для сельскохозяйственных машин, возле него поставлены черные, смоленые бочки с горючим. Кругом была разбросана солома, валялось какое-то железо. Здание МТС имело надстройку-голубятню. У Эйзенштейна были режиссерское место и рупор. Мы с Бабелем иногда сидели вдали и наблюдали. Помню, что участвовало в съемках много статистов, набранных из местных жителей.

Вечерами мы ходили в кинозал на просмотр заснятых днем кадров. Они были необыкновенно хороши. На фоне черного клубящегося дыма горящей МТС — взлетающие белые голуби, белые лошади, белая рубаха Аржанова, играющего роль начполита МТС. Эйзенштейну хотелось этот фильм сделать в бело-черной гамме, как цветовое противопоставление светлого, счастливого и темного, мрачного. Он искал белых голубей, белых козочек, белых лошадей.

— Когда мы смотрели с вами пожар МТС,— сказал мне Бабель,— во время съемок нельзя было даже предположить, что получатся такие великолепные кадры,— вот что значит мастерство!..

Еще до поездки в Ялту, весной 1935 года, Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Лань-фаня. В антракте Сергей Михайлович решил пойти за кулисы.

— Возьмите с собой Антонину Николаевну, ей это будет интересно,— сказал Бабель.

И мы пошли.

Актеры были в отдельных маленьких комнатках — актерских уборных, босые, в длинных одеяниях, театральных и простых темных. Двери всех комнаток были открыты, актеры прохаживались или сидели. Сергей Михайлович, а за ним и я со всеми здоровались. а они низко кланялись. С самим Мэй Лань-фанем Сергей Михайлович заговорил, как я поняла, по-китайски, и говорил довольно долго. Мэй Лань-фань улыбался и кланялся.

Я была потрясена. До сих пор я знала только, что Эйзенштейн владеет почти всеми европейскими языками. Возвратившись, я сказала Бабелю:

— Сергей Михайлович говорил с Мэй Лань-фанем по-китайски, и очень хорошо.

— Он так же хорошо говорит по-японски,— ответил Бабель, рассмеявшись.

Оказалось, что Эйзенштейн говорил с Мэй Лань-фанем по-английски, но с такими китайскими интонациями, что неискушенному человеку было трудно это понять. Бабель же отлично знал, как блестяще Сергей Михайлович мог, говоря на одном языке, производить впечатление, что говорит на другом.

Однажды мы с Бабелем пришли к Эйзенштейну на Потылиху, где он жил.

В этот наш визит Сергей Михайлович показал нам разные сувениры, привезенные им из Мексики, и в том

числе настоящих блох, одетых в свадебные наряды. На невесте — белое платье, фата и флёрдоранж, на женихе — черный костюм и белая манишка с бабочкой. Все это хранилось в коробочке чуть поменьше спичечной. Рассмотреть это можно было только при помощи увеличительного стекла.

— Это, конечно, не то, что подковать блоху, но все же. Приоритет остается за нами,— пошутил Бабель.

В тот вечер Сергей Михайлович рассказывал много интересного о Мексике и о Чаплине, с которым был хорошо знаком. Запомнилось, как Чаплин на съемках не щадил себя, и если в картине он должен был упасть или броситься в воду, то десятки раз проделывал это, отрабатывая каждое движение. Так же беспощаден он, говорил Эйзенштейн, и к другим актерам.

Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого Бабель в письмах ко мне именовал «Эйзен», он очень уважал, считал его гениальным человеком во всех отношениях и называл себя его «смертельным поклонником». Эйзенштейн платил Бабелю тем же: он высоко расценивал его литературное мастерство и дар рассказчика; очень хвалил пьесу «Закат», считал, что ее можно сравнить по социальному значению с романом Золя «Деньги», так как в ней на частном материале семьи даны капиталистические отношения, и очень ругал театр (МХАТ 2-й), который, по мнению Эйзенштейна, плохо поставил пьесу и не донес до зрителя каждое слово, как того требовал необычайно скупой текст.

Еще в Ялте мы с Бабелем однажды, прогуливаясь, увидели, как жена везет мужа-калеку в коляске. Ноги его были укрыты пледом, лицо бледно. Бабель сказал:

— Посмотрите, как это трогательно. Будете вы на это способны?

И я подумала тогда: неужели он задумывается о такой участи для себя?

Из Ялты мы выехали в Одессу уже в ноябре на теплоходе. На море был очень сильный, чуть ли не двенадцатибалльный шторм. Всю дорогу Бабель чувствовал себя ужасно, лежал в каюте совершенно зеленый, сосал лимон. На меня же шторм не действовал, я пошла ужинать в ресторан и оказалась там в единственном числе. Когда я рассказала Бабелю, что в ресторане, кроме меня, никого не было, он заметил:

— Уникум, чисто сибирская выносливость!

В Одессе мы поселились в пустой двухкомнатной квартире недалеко от улицы Гоголя и Приморского бульвара. Завтрак мы себе готовили сами, а обедать ходили в какой-то дом, где можно было столоваться частным образом.

По утрам я уходила из дома и кружила по одесским улицам, а Бабель работал. После обеда и по вечерам он гулял вместе со мной.

На улице Гоголя была булочная, где мы брали хлеб, и рядом бубличная, где всегда можно было купить горячие, обсыпанные маком бублики; Бабель очень любил их и обычно ел тут же, в магазине, или на улице.

Однажды мы зашли в бубличную. Одновременно с нами вошел покупатель, мужчина средних лет, огляделся с недоумением по сторонам и спросил продавщицу:

— Гражданка, а хлеб здесь думает быть?

Бабель шепнул мне: «Это — Одесса». В другой раз мы прошли мимо молодых ребят как раз в тот момент, когда один из них, сняв пиджак, говорил другому: «Жора, подержи макинтош, я должен показать ему мой характер». Тут же завязалась драка. Бабель до того

приучил меня прислушиваться к одесской речи, что я и сама начала сообщать ему интересные фразы, а он их записывал. Например, идут по двору нашего дома школьники, и один говорит: «Ох, мать устроит мне той компот!» Бабель каждый раз очень веселился.

Бывали дни, когда мы отправлялись в далекие путешествия и заходили к рыбакам и старожилам, знакомым Бабеля с давних пор. Один старик, виноградарь и философ, развел чуть ли не 200 сортов виноградных лоз и был известен далеко за пределами своего города, другой был внучатным племянником самого де Рибаса, основателя Одессы, женатым на первой жене Ивана Бунина, красавице Анне Цакни.

Беседы с рыбаками велись самые профессиональные: о ловле бычков, кефали, барабульки, о копчении рыбы, о штормах, о всяких приключениях на море.

В Одессе Бабель вспоминал свое детство.

— Моя бабушка,— рассказывал он,— была абсолютно уверена в том, что я прославлю наш род, и поэтому отличала меня от моей сестры. Если, бывало, сестра скажет: «Почему ему можно, а мне нельзя?» — бабушка по-украински ей отвечала: «Ровня́ коня до свиня», то есть сравнила коня со свиньей.

Как-то раз Бабель начал неудержимо смеяться, а затем сквозь смех мне объяснил, что вспомнил, как однажды стащил из дому котлеты и угостил мальчишек во дворе; бабушка, увидев это, выбежала во двор и погналась за мальчишками; ей удалось поймать одного из них, и она начала пальцами выковыривать котлету у него изо рта.

Рассказ этот мог быть и чистейшей выдумкой. К тому времени я уже отлично знала, что ради острой или

смешной ситуации, которая придет Бабелю в голову, он не пощадит ни меня, ни родственников, ни друзей.

Очень часто в Одессе он вспоминал свою мать.

— У моей матери,— говорил он,— был дар комической актрисы. Когда она, бывало, изобразит кого-либо из наших соседей или знакомых, покажет, как они говорят или ходят, сходство получалось у нее поразительное. Она это делала не только хорошо, но талантливо. Да! В другое время и при других обстоятельствах она могла бы стать актрисой...

К своим двум теткам, сестрам матери, жившим в Одессе, Бабель ходил редко и всегда один; мало общался он и со своей единственной двоюродной сестрой Адой. Более близкие отношения у него были только с московской тетей Катей, тоже родной сестрой матери. Эта тетя Катя, бывало, приходила к людям, которым Бабель имел неосторожность подарить что-нибудь из мебели, и говорила:

— Вы извините, мой племянник сумасшедший, этот шкаф — наша фамильная вещь, поэтому, пожалуйста, верните ее мне.— Так ей удалось собрать кое-что из раздаренной им семейной обстановки.

Однажды в Одессе Бабеля пригласили выступить где-то с чтением своих рассказов. Пришел он оттуда и высыпал на стол из карманов кучу записок, из которых одна была особенно в одесском стиле и поэтому запомнилась: «Товарищ Бабель, люди пачками таскают «Тихий Дон», а у нас один только «Беня Крик»?!»

Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы.

— Нет,— ответил он мне. Оказалось, что даже такие рассказы, как «Пробуждение» и «В подвале», которые

кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет. На мой вопрос, почему же он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил:

— Так рассказы получаются гораздо короче: не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, какая у него история, как он одет...

О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Сторицыным. Рассказ Сторицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож на вздыбленную розовую свинью; ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился глазами с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: «Привет, сестричка!» Вот и все.

Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами все побелело от первого снега, в изумлении спросила: «Папа, что это? Именины?!»

Бабель, узнав об этом, пришел в восторг. Он очень любил детей, а жизнь его сложилась так, что ни одного из своих троих детей ему не пришлось вырастить.

Летом 1937 года, когда нашей дочери Лиде было пять месяцев, Бабель снял дачу в Белопесецкой, под Каширой.

Белопесецкая расположена на берегу Оки. Купаться и греться на берегу реки, на чистейшем белом песке, было одним из самых больших удовольствий Бабеля.

Вдвоем с ним мы часто ходили гулять в лес, но леса он как-то боялся, и едва только мы в него углублялись хоть немного, он начинал беспокоиться и говорил: «Все! Мы заблудились, и теперь нам отсюда не выбраться». Привыкший к степным местам, он явно побаивался леса и, как мне казалось, не очень хорошо себя в нем чувствовал. С большим удивлением и даже почтительностью относился он к тому, что куда бы мы ни зашли, я всегда находила дорогу и была в лесу как дома.

— Вы колдунья? — спрашивал он.— Вам птицы подсказывают дорогу?

А дело было в том, что я выросла в сибирской тайге...

Перелистывая как-то на даче только что вышедшую и очень толстую книгу одного из известных наших писателей, Бабель сказал:

— Так я мог бы написать тысячи страниц.— А потом, подумав: — Нет, не мог бы, умер бы со скуки. Единственно, о чем я мог бы писать сколько угодно,— это о болтовне глупой женщины...

Лида начала ходить в десять месяцев и к году уже отлично бегала. Она еще не говорила, но преуморительно гримасничала и, видимо понимая, что окружающих это смешит, становилась все более изобретательной.

— Нам теперь хорошо,— сказал как-то по этому поводу Бабель,— придут гости, занимать их не надо. Мы выпустим Лиду, она будет гостей забавлять.

А иногда, смеясь, говорил:

— Подрастет — одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при отце осталась...

Лион Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. Это был человек небольшого роста, светло-рыжий, с лисьей мордочкой и очень аккуратный, в костюме, который казался чуть маловатым для него.

Разговор шел на немецком языке, которым Бабель владел свободно. Я же, знавшая неплохо немецкий язык, читавшая немецкие книги и даже изучавшая в то время, по настоянию Бабеля, немецкую литературу с преподавательницей, понимала Фейхтвангера очень плохо, никак не могла связать отдельные знакомые слова. Мне было очень досадно, так как Бабель, когда писал кому-нибудь по-немецки письмо, спрашивал у меня, как надо написать то или другое слово. А вот в разговорном языке у меня не было никакой практики, и я не могла ловить речь на слух.

Бабель сказал Фейхтвангеру: «Антонина Николаевна изучает немецкий язык в вашу честь»,— на что Фейхтвангер ответил, что раз так, то он пришлет мне из Германии в подарок свои книги. И он прислал несколько томов в темно-синих переплетах, изданных, если не ошибаюсь, в Гамбурге. Но из этих книг я успела прочитать только «Успех». Бабель отдал их жене художника Лисицкого, Софье Христиановне; не мог удержаться, так как она была немка...

В начале 1936 года Штайнер уезжал по делам в Вену и на время своего отсутствия предложил своим знакомым, венграм, супругам Шинко, остро нуждавшимся в жилье, поселиться в его квартире. Он согласовал это с Бабелем, и было решено, что они займут кабинет на нижнем этаже.

Когда мы поближе познакомились, Бабель рассказал мне их историю.

Эрвин Шинко — политэмигрант со времени разгрома Венгерской коммуны, участником которой он был. Эмигрантом он жил во Франции, Австрии, Германии, там написал роман под названием «Оптимисты» и пытался его издать. С этой же целью он приехал в СССР, имея рекомендательное письмо Ромена Роллана, и был гостем организации культурных связей с заграницей в течение полугода. Этот срок благодаря Горькому был продлен еще на полгода. А потом Эрвин Шинко попал в тяжелое положение, так как роман «Оптимисты» никто не согласился издать. Его жена, Ирма Яковлевна, врач-рентгенолог, устроилась работать в один из московских институтов.

Бабель откуда-то знал историю их женитьбы. В годы первой мировой войны Эрвин и Ирма были в Венгрии революционерами-подпольщиками, задумавшими издавать журнал в духе Циммервальдской программы. Для этого должны были послужить деньги из приданого Ирмы, дочери богатых родителей. Но отец Ирмы не хотел отдавать дочь замуж за бедного студента, каким был Эрвин. Тогда один из членов организации, инженер Дьюла Хевеши, решился сыграть роль жениха. В то время он был уже известным в Венгрии изобретателем, руководителем научно-исследовательской лаборатории крупного электролампового завода. Мнимый жених Дьюла Хевеши был представлен отцу невесты, и тот вполне одобрил кандидатуру такого положительного человека.

Через какое-то время сыграли свадьбу, и молодые отправились в свадебное путешествие; на ближайшей от Будапешта маленькой станции «фальшивый жених»

сошел с поезда, а Эрвин Шинко занял его место в купе.

Эрвин и Ирма были очень любящей парой, неразлучной до такой степени, что даже в ванную комнату они, когда жили у нас, ходили вместе. И пока мылся он, она ему что-нибудь читала, и наоборот. Бабель очень потешался над этим и, проходя мимо ванной, непременно подшучивал над ними.

Он очень уважал Ирму Яковлевну, а про Эрвина говорил:

— Разыгрывает из себя непонятого гения и не хочет устроиться на работу, живет за счет жены.

Роман Эрвина «Оптимисты» Бабель находил скучным, но все же старался помочь пристроить его в какое-нибудь издательство или инсценировать для кино, но из этого ничего не вышло.

В самом начале 1937 года супруги Шинко уехали во Францию, а затем переехали в Югославию, где Эрвин стал преподавать в университете в городе Нови-Сад.

В том же 1937 году Штайнер уехал в Австрию. Таким образом, сама собой закончилась совместная жизнь Бабеля с иностранцами, и мы остались одни в квартире на Николо-Воробинском. Разумеется, удержать такую большую квартиру мы не могли, поэтому оставили за собой только три комнаты на втором этаже, в двух же комнатах внизу появились новые жильцы.

Рассказу Бабеля о романтической истории Эрвина и Ирмы Шинко я сначала верила, а потом начала сомневаться и решила, что это очередной придуманный им сюжет. Каково же было мое удивление, когда в 1966 году, будучи в Будапеште, я познакомилась с «фальшивым женихом» Ирмы Яковлевны Дьюлой Хевеши. Он сам повторил мне рассказ о женитьбе Эрвина Шинко.

Из этого примера следует сделать вывод, что рассказы Бабеля не всегда были чистейшей выдумкой.

В 1968 году, как я недавно узнала, Эрвин Шинко умер в Загребе от кровоизлияния в мозг. Ирма Яковлевна выполнила завещание своего мужа — богатую библиотеку Шинко подарила философскому факультету Новосадского университета, где он читал лекции и был заведующим кафедрой; его рукописи передала Академии наук в Загребе, членом которой был Эрвин Шинко. Из всех сбережений, какие у них были, она создала «фонд Эрвина Шинко» для поощрения студентов-отличников кафедры венгерского языка и литературы. После этого она отравилась.

Бабель, который так не хотел жить ни в писательском доме на Лаврушинском, ни в Переделкине, только из-за ребенка решился взять там дачу. Матери и сестре 16 апреля 1938 года он об этом писал:

«Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в так наз. писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга, и с собратьями встречаться не придется,— решил переехать. Поселок этот в 20 км. от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)... Вот вам и наша весна. Солнце — редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему».

Дача была еще недостроенной, когда мы впервые туда переехали. Мне было поручено присмотреть за достройкой и теми небольшими изменениями проекта,

которые Бабелю захотелось сделать. По заказу Бабеля была поставлена возле дома голубятня. На даче он выбрал себе для работы самую маленькую комнату. Мебели у нас не было никакой.

Но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна Пешкова и сообщила, что ликвидируется Комитет Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала: «За этим столом я проработала здесь двадцать пять лет». Были выбраны также диван с резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и еще кое-что.

Довольные, мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли на Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), где она жила.

С этого времени началось мое личное знакомство с Екатериной Павловной.

Стол Екатерины Павловны и диван Бабель оставил в своей комнате на Николо-Воробинском. В дачной же его комнате почти вся мебель была новой — из некрашеного дерева, заказанная им на месте столяру. Там стояли: топчан с матрацем — довольно жесткая постель, это любил Бабель; у окна большой, простой, во всю ширину комнаты стол для работы; низкие книжные полки и купленное в Красном Кресте кресло с кожаным сиденьем. На полу небольшой текинский ковер.

В последние годы желание писать владело Бабелем неотступно. «Встаю каждое утро,— говорил он,— с желанием работать и работать, и когда мне что-нибудь мешает, злюсь». А мешало многое. Прежде всего —

графоманы. По своей доброте Бабель не мог говорить людям неприятные для них истины и тянул с ответом, заикался, а в конце концов в утешение говорил: «В вас есть искра божья», или: «Талант проглядывает, хотя вещь и сырая», или что-нибудь в этом же роде. Обнадеженный таким образом графоман переделывал свое произведение и приходил опять. Ему все говорили, что пишет он плохо, что нужно это занятие бросить, а вот Бабель подавал надежду...

Телефонные звонки не прекращались. Работать дома становилось невозможно. И тогда Бабель, замученный, начинал скрываться. По телефону он говорил только женским голосом. А когда начала говорить наша дочь Лида, он заставлял даже ее брать трубку и отвечать: «Папы нет дома». Но так как фантазия Лиды не могла удовлетвориться одной этой фразой, она прибавляла что-нибудь от себя, вроде: «Он ушел гулять в новых калошах». Женский голос Бабеля по телефону был бесподобен. Мне тоже приходилось его слышать, когда я звонила с работы домой.

Но случалось и так, что, скрываясь от графоманов, Бабель убегал из дому, захватив чемоданчик с необходимыми рукописями. Он не упускал случая снять на месяц освобождающуюся где-нибудь комнату или номер в гостинице. Причиной, хотя и очень редкой, для бегства из дому был и приезд моих родственников. Тогда он всем с удовольствием говорил: «Белокурые цыгане заполонили мой дом, и я сбежал».

Мешала ему работать и материальная необеспеченность. Но только в последние два года моей совместной жизни с Бабелем я начала это понимать. Вначале он тщательно скрывал от меня недостаток денег и даже матери моей, когда она у нас гостила, говорил: «Мы

должны встречать ее с улыбкой. Ни о каких наших домашних затруднениях мы не должны говорить ей. Она много работает и устает». Деньги Бабелю нужны были не только для содержания московского нашего дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у Бабеля чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они у него были, чем постоянно пользовались его друзья. Долгов же Бабелю никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать литературную работу для заработка.

Такой работой были заказы для кино. Иногда Бабель писал к кинокартине слова для действующих лиц при готовом сценарии, но чаще всего переделывал и сценарий или писал его с кем-нибудь из режиссеров заново...

Бабель заново переводил рассказы Шолом-Алейхема, считая, что они очень плохо переведены на русский язык. Переводил он из Шолом-Алейхема и то, что никем не переводилось ранее, и однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный, голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился, и ему дали ложку. Но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому: «Твой еврей объедает моего, так он съест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал: «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого...

Работа Бабеля по переводу рассказов Шолом-Алейхема была, как он выражался, «для души». «Для души» писались и новые рассказы, и повесть «Коля Топуз».

— Я пишу повесть,— говорил он,— где главным героем будет бывший одесский налетчик типа Бени Крика, его зовут Коля Топуз. Повесть пока что тоже так называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе в период коллективизации, а затем в Донбассе, на угольной шахте. Но так как у него психология налетчика, он все время выскакивает за пределы нормальной жизни. Создается много веселых ситуаций...

В апреле 1939 года он уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от И. А. Груздева:

«У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте. Груздев».

Я показала телеграмму начальнику Метропроекта, и он тут же отпустил меня на несколько дней.

В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый Бабель вместе с моей подругой Марией Всеволодовной Тыжновой (Макой). При отъезде Бабеля из Москвы я поручила ему передать Маке письмо. Это поручение превратилось в их прочное знакомство. Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил в их дом. Дело в том, что мать Маки была урожденная Лермонтова, дед ее был двоюродным братом Михаила Юрьевича Лермонтова.

В старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением и гипсовой мас-

кой Петра Первого на стене, жили, помимо моей подруги Маки, ее бабушка, ее тетка с семьей и холостяк-дядя Владимир Владимирович Лермонтов.

Из разговоров с Владимиром Владимировичем Бабель узнал, что в доме их хранится архив дяди поэта Лермонтова, и, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал часто приходить, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза и в своем дневнике записал: «Первая жена — от бога; вторая — от людей, третья — от дьявола»; что после смерти очень любимой им первой жены он остановил часы, которые с тех пор не заводились ни при его жизни, ни после его смерти, что очень интересно было читать расходные книги Лермонтовых, где было записано, сколько заготовлено на зиму возов дров, сена, мяса, свечей и что почем. Среди прочих расходов Бабель нашел запись: «1 рубль жидам на свадьбу». Эта запись его очень развеселила, и он потом часто ее вспоминал.

Этот архив хранится теперь в Пушкинском Доме.

Мы пробыли в Ленинграде несколько дней, были в гостях у И. А. Груздева, жена которого оказалась, как и я, сибирячкой и угощала нас домашними пельменями. Проводили время у моей подруги Маки, много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд после завтрака до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж так обстоятельно, как с Бабелем в том году. В эти дни (20 апреля) Бабель писал своей матери:

«Уф! Гора свалилась с плеч... Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за «честную» жизнь. В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже, завтра поеду в Петер-

гоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду погулять после трудов праведных...»

И 22 апреля:

«Второй день гуляю — к тому же весна... Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю».

Перед отъездом в Переделкино, в начале мая 1939 года, Бабель сказал мне, что будет жить теперь там постоянно и только в исключительных случаях приезжать в Москву: «Мне надо к осени закончить книгу новых рассказов. Она так и будет называться «Новые рассказы». Вот когда мы разбогатеем».

Условились, что в конце мая, когда установится теплая погода, переедем на дачу все.

Прощаясь, он сказал весело: «Теперь не скоро вернусь в этот дом»...

СОДЕРЖАНИЕ

Лев Славин. Фермент долговечности . . 3
Константин Паустовский. Рассказы о Бабеле 9
Илья Эренбург. Бабель был поэтом... . 50
С. Гехт. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года 65
В. Ходасевич. Каким я его видела . . . 82
О. Савич. Два устных рассказа Бабеля . 97
Ф. Левин. Первое впечатление 104
Г. Мунблит. Из воспоминаний 109
Сергей Бондарин. Прикосновение к человеку 133
В. Финк. Я многим ему обязан 147
М. Макотинский. Умение слушать . . 154

Т. Иванова. О том, где и как были созданы пьеса «Закат» и сценарий «Беня Крик» (по письмам И. Э. Бабеля) 159
А. Нюренберг. Встречи с Бабелем . . . 195
Кирилл Левин. Из давних встреч . . . 203
Т. Стах. Каким я помню Бабеля . . . 210
Михаил Зорин. Чистый лист бумаги . . 221
Владимир Канторович. Бабель рассказывает о Бетале Калмыкове . . . 238
Леонид Утесов. Мы родились по соседству 261
Виктор Шкловский. Человек со спокойным голосом 270
Г. Марков. Урок мастера 279
Л. Боровой. Подарок 286
А. Н. Пирожкова. Бабель в 1932—1939 годах (из воспоминаний) 292

И. БАБЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

М., «Советский писатель», 1972, 376 стр.
План выпуска 1972 г. № 16
Художник А. И. Гольдман
Редактор Е. И. Изгородина
Худож. редактор Н. С. Лаврентьев
Техн. редактор А. И. Мордовина
Корректоры: С. И. Малкина
и Л. К. Фарисеева

Сдано в набор 6/X 1971 г. Подписано к печати 11/IV 1972 г. А 05869. Бумага 70×108 1/32 № 1. Печ. л. 11 3/4 + 0,56 вкл. (17,23). Уч.-изд. л. 15,27. Тираж 15 000 экз. Заказ 484. Цена 80 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.